

Московская школа социальных и экономических наук

Центр фундаментальной социологии

Социологическое обозрение

Том 2. № 3. 2002

Интернет-версия журнала на сайтах www.sociologica.net
www.sociologica.ru

Главный редактор – Александр Фридрихович Филиппов
Ответственный секретарь – Марина Геннадиевна Пугачева
Редактор сайта – Сергей Петрович Еремин
Литературный редактор – Каринэ Акоповна Щадилова

Адрес редакции: mail@sociologica.ru

Журнал выходит четыре раза в год.

Проект осуществляется при финансовой поддержке
Национального фонда подготовки кадров.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕВОДЫ

Роберт Парк

Город как социальная лаборатория 3

Роберт Парк

Организация сообщества и романтический характер 13

Анри Лефевр

Идеи для концепции нового урбанизма 19

Анри Лефевр

Производство пространства 27

РЕФЕРАТЫ

Петр Штомпка

Доверие: социологическая теория 30

Саймон Лок

Социология и общественное восприятие науки: от рационализации к риторике 42

Т. Люк, Дж. О’Туатейл.

Осмысляя геополитическое пространство: пространственность войны, скорости и зрения в работах П. Вирильо 47

РЕЦЕНЗИИ

Ален Турен. «Возвращение человека действующего. Очерк социологии»

М.: Научный мир, 1998 54

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

Андрей Ашкерев

«БУРДЬЕ ЖИВ!»

Пьер Бурдьё. О телевидении и журналистике. М.: Прагматика культуры, 2002 59

Константин Крылов

«В поисках утраченного времени».

Артур Данто. Аналитическая философия истории. М.: Идея-Пресс, 2002 64

СТАТЬИ И ЭССЕ

Александр Ковалев

Модернизация как эволюция типов организации 68

РЕТРОСПЕКТИВА

«Война спровоцировала всякие запросы о жизни»

Интервью с Г.М.Андреевой. (М.Г.Пугачева) 78

ПЕРЕВОДЫ

Предисловие переводчика

Практически все социальные проблемы, которые исследовал Парк, размещались и развивались в городской среде. Хотя его экологический подход отнюдь не ограничивается городской средой, однако свое конкретное выражение он получает почти исключительно в связи с метрополисом. Отсюда и ярлык Парка как теоретика социологии города. Город представлял для Парка удобный «локус исследования», поскольку именно здесь любая особенность человеческого поведения концентрировалась на относительно малом (обозримом) пространстве, естественный рост институтов идет наиболее стремительно. В публикуемой статье, несмотря на то, что она может показаться лишь обзорной, зафиксирован ряд принципиальных методологических позиций – как в отношении города, динамики его социального развития и дифференциации, так и относительно социальных наук, достигших такого состояния, когда стало возможно организовать и провести лабораторный эксперимент. Город – это лабораторный инструмент, похожий, наверное, на увеличительное стекло или микроскоп, поскольку он как бы усиливает, выпячивает и делает ярко выраженными любые особенности человеческой природы и поведения. Но кроме этого, город – это инструмент, контролирующий и направляющий наблюдения исследователя. Наблюдения эти могут проводиться как над индивидуальным поведением, так и над социальными институтами, и над городским сообществом в целом.

Совершенно очевидно, что здесь Парк выступает противником чисто экономического подхода к процессам в городе – город состоит из сообществ, прежде всего, а каждое сообщество до некоторой степени является независимой культурной единицей, со своими стандартами, нормами, моралью, традициями, определяющими поведение в городе. Поэтому процессы установления солидарности, социального контроля, координации действий, протекающие относительно гладко в малых сообществах, основанных на личных контактах, в большом городе наталкиваются на препятствия разобщенности, мобильности, гибридности и прочее и оказываются в этом «заблокированном» состоянии наиболее явными, наблюдаемыми и готовыми к лабораторному исследованию. Направления этих исследований Парк и представил в публикуемых ниже статьях.

Роберт Парк

ГОРОД КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ¹

I. Человеческая природа и город

Город всегда описывали как естественное обиталище цивилизованного человека. Именно в городе человек создал философию и науку и стал не просто рациональным, но утонченным животным. Это, стало быть, означает, что именно в городской среде – в мире, который человек сам себе создал – человечество впервые возвысилось до интеллектуальной

¹ R. Park. The City as a Social Laboratory// In: Robert E. Park On Social Control and Collective Behavior/ Selected Papers, Ed. and with introduction by Ralph H. Turner. - Chicago a. London: Phoenix Books, The University of Chicago Press, 1967. - pp. 3-18.

© Центр фундаментальной социологии, 2002г.

© Баньковская С.П., 2002г.

жизни и приобрело те черты, которые более всего отличают его от животных и первобытных людей. Ибо город и городская среда представляют собой наиболее последовательную и в целом наиболее успешную попытку человека преобразовать мир, в котором он живет, в наибольшем соответствии со своими сокровенными желаниями. Но если город – это сотворенный человеком мир, то это мир, в котором ему и приходится теперь жить. Таким образом, сотворив город, человек, невольно и не представляя себе отчетливо смысла этой работы, преобразил самого себя.

Примерно в этом смысле и в такой связи мы представляем себе город как социальную лабораторию.

По сути дела в наших современных городах цивилизация и социальный прогресс приобрели характер некоего контролируемого эксперимента. Прогресс стремится к такому состоянию, когда, например, принятию законов предшествует сбор и анализ фактов, когда реформы осуществляются экспертами, а не любителями. Социальные обследования и различного рода муниципальные исследовательские конторы – свидетельство той политики, которая стала, скорее, эмпирической, нежели доктринерской.

Социальные проблемы в основе своей – проблемы города. В условиях города с его свободой достижение социального порядка и социального контроля, сопоставимого с тем, который естественно развивался в семье, в клане, в племени, становится проблемой.

Цивилизованный человек – это, так сказать, наиболее позднее явление. С точки зрения длительной исторической перспективы город и городская жизнь появились сравнительно недавно. Человек вырос и получил большинство своих врожденных и естественных черт в той среде, в которой живут и животные, в непосредственной зависимости от природного мира. В водовороте перемен, которые повлекло за собой появление города и гражданской жизни, человек так и не сумел сколько-нибудь основательно приспособиться биологически к своему новому окружению.

До тех пор, пока человек жил в пределах своего племени, обычай и традиция обеспечивали его решениями на все случаи повседневной жизни, а власти вождей было достаточно, чтобы противостоять потрясениям, случавшимся в относительно стабильном существовании. Однако человеческие возможности расширились с появлением городского сообщества. Новый социальный порядок предполагал новую свободу и более широкое разделение труда; город стал центром и средоточием социальных изменений, которые постепенно умножались и усложнялись до того, что сегодня каждый большой город является локальным центром мировой экономики и цивилизации, в котором локальные и племенные культуры, постоянно смешиваясь, вскоре вовсе исчезнут.

В городе, где обычай вытеснен общественным мнением и позитивным законом, человек вынужден жить, скорее, своим умом, нежели инстинктом или подчиняясь традиции. В результате появился человек индивидуальный – индивид – мыслящий и действующий.

Крестьянин, который приезжает в город, чтобы работать и жить там, несомненно, освобождается от контроля обычаев своих предков, но вместе с тем его больше не поддерживает коллективная мудрость крестьянской общины. Он теперь сам по себе. Случай с крестьянином является типичным. Каждый человек в городе в той или иной степени – сам по себе. И как следствие, пересаженный в город человек до такой степени становится проблемой для самого себя и для общества, как никогда раньше.

Предшествующий этому порядок, покоившийся на обычае и традиции, был абсолютным и священным. К тому же он был чем-то вроде самой природы; он вырастал естественным образом, и люди принимали его таким, как есть, как они принимали погоду или климат, – как часть естественного порядка вещей. Однако новый социальный порядок является более или менее искусственным образованием – артефактом. Он не естественен и не священен, но прагматичен и экспериментален. Под напором практической необходимости образование перестало быть исключительно формой социального ритуала, политика стала прикладной, религиозная вера теперь, скорее, – поиск, а не традиция, то, что должно быть обречено, а не просто получено.

Естественные науки возникли в попытках человека добиться власти над внешней, физической, природой. Социальные науки сегодня стремятся к тому, чтобы посредством тех же методов отстраненного наблюдения и исследования дать человеку власть над самим собой. Поскольку именно в городе возникла политическая проблема (т.е. проблема социального контроля), то именно в городе ее и следует изучать.

II. Первые локальные исследования

Если в последнее время социальные науки и приобрели реалистический и объективный характер, то этим они более всего обязаны локальным исследованиям, тщательно и подробно изучавшим человека в среде его обитания и в тех условиях, в каких он реально живет.

Первые такие исследования были, как и следовало ожидать, более практическими, нежели теоретическими. Это были обследования жилищных условий и здоровья, бедности и преступности. Они стали основой для целого ряда реформ: аренды жилья, строительства игровых площадок, текущей статистики. Они пробудили новый, романтический, интерес к трущобам. Появилась новая литература, повествующая о жизни других людей и в то же время дающая представление о том, что бедные и иммигранты – такие же люди, как и мы.

Социальные поселения, созданные, примерно, в конце XIX века в Англии и Америке, стали основными объектами обследований и подробного, ближайшего рассмотрения социальных условий в тех городских районах, которые до того времени оставались для всех *terra incognita*, за исключением настоящих первопроходцев социологии города – политиков и полиции.

В 1895 году Джейн Адамс и ее коллеги опубликовали в Чикаго *Hull House Maps and Papers*, а несколькими годами позже Роберт Вудс в Бостоне выпустил *The City Wilderness and Americans in Process*. Эти работы были признаны в своем роде образцами исследования и заложили основания дальнейших более систематических и подробных исследований. Среди последних особого внимания заслуживает ряд работ, посвященных жилищным условиям в Чикаго, начатых в 1908 году под руководством Софонизбы Брекинридж и Эдит Эббот по поручению главного санитарного инспектора Чикаго в отделе социальных исследований (Russel Sage Foundation) Чикагской школы города и благотворительности (Chicago School of Civics and Philanthropy). В этих первых исследованиях изучались жилищные условия холостяков, семей в меблированных комнатах, Западный Чикаго, Южный Чикаго в районе сталелитейных заводов, проблемы негров, итальянские, словацкие, литовские, греческие кварталы².

В то же время, примерно в 1888 году, Чарльз Бут начал свое эпохальное исследование жизни и труда в Лондоне³, за которым последовало, в 1901 году, менее фундаментальное исследование бедноты в Нью-Йорке, сделанное Рантри⁴. По большому счету это – монографические исследования. Самой характерной их чертой были решительные и порой, пожалуй, даже педантичные попытки свести описательные суждения исследователей и наблюдателей, навеянные впечатлениями, к более точным, обобщенным формулировкам статистических заключений. Так, Бут пишет:

Если описывать, как я это сделал, улицу за улицей с их обитателями в этом огромном районе (Восточном Лондоне), исследовать дом за домом, семью за семьей во всех их живописующих деталях, записанных со слов непосредственных наблюдателей, тщательно заносивших все подробности в дневники, то невозможно усомниться в правдивости и истинности этой информации. У меня нет сомнений в полноте моего материала. Я поражен его массивностью и полон решимости использовать только те факты, которым я могу

² Целый ряд статей в *American Journal of Sociology* посвящен жилищным условиям в Чикаго XVI (1910-11), 145-70; 298-308; 433-68; XVII (1911-12) 1-34; 145-76; XVIII (1912-13) 241-57; 509-42; XX (1914-15), 145-69; 289-312; XXI (1915-16) 285-316.

³ Charles Booth. *Life and Labor of the People of London* (9 vols.). – 1892, London.

⁴ B. Seebohm Rountree. *Poverty: A Study of Town Life*. – London, 1901.

придать количественное значение. В каждой книжке наших записей лежит множество материала для душещипательных рассказов; но даже если бы я и обладал способностью использовать их подобным образом (даром воображения, который называют "реалистическим"), я бы не хотел воспользоваться ею здесь. Тут и ужасающая нищета, лишения, голод, пьянство, жестокость и преступления – никто не сомневается, что все это есть. Но моя цель – попытаться показать, какое численное отношение имеет бедность, нищета и порок к регулярным доходам и относительному комфорту, и описать общие условия жизни каждого класса⁵.

Однако, не статистика Бута, но его реалистические описания действительной жизни различных (по роду занятий) классов – условий их труда и проживания, их страсти, свободное времяпрепровождение, их маленькие домашние трагедии, их жизненные философии, помогающие справиться с невзгодами, – сделали этот труд незабываемым и бесценным вкладом в наше знание человеческой природы и общества. В конечном итоге эти тома дают нам тщательное и подробнейшее описание периода развития современной цивилизации, представленного в жизни лондонского рабочего в конце XIX века. Эти тома составили большое социологическое исследование и стали историческим документом.

В Соединенных Штатах локальным исследованиям очень сильно способствовало создание *Sage Foundation* в 1906 году и опубликование результатов Питтсбургского обследования в период с 1909 по 1914 год. Пол Келлог и его сотрудники выбрали для исследований Питтсбург потому, что видели в нем невероятно яркий образец того, как формируются силы и тенденции, характерные для стремительного роста индустриальной жизни в Америке. Питтсбург был явно и исключительно промышленным городом. Америка переживала промышленный переворот. Питтсбург стал клиническим материалом для изучения американской цивилизации. Представилась возможность наглядно показать, на примере одного города, как промышленная организация того времени повлияла на личную и культурную жизнь его обитателей. Это и было целью предпринятого обследования.

Питтсбургское обследование пришлось ко времени. Оно появилось, когда во всех уголках Соединенных Штатов мыслящие люди искали решения проблем, с которыми уже не справлялись традиционные технологии, воплощенные в формы традиционной партийной политики. Это было время, когда реформы стремились выйти за рамки политики, т.е. за рамки партийной политики. Питтсбургское обследование предоставляло новый метод для политического образования и коллективного действия в решении локальных проблем, метод, который не поднимал партийных вопросов и не содержал ничего революционного, вроде смены местного управления.

Социальные обследования с этих пор стали модными, и подобного рода локальные исследования предпринимались во всех частях страны. На широкий круг интересов, оказавшийся в поле их зрения, указывает предмет исследования некоторых наиболее значительных обследований. Примерами могут служить: Спрингфилдское обследование, которое покрывало целую область социальной политики (общественное здоровье, образование, социальные службы в их многочисленных видах)⁶, Обследование уголовного законодательства в Кливленде, опубликованное в 1922 году, и исследование расовых отношений в Чикаго после расовых волнений, опубликованное в том же году под названием "Негры в Чикаго".

Эти обследования, как и любые региональные исследования, носили черты локальной и современной истории. Они подчеркивали то, что уникально и индивидуально в исследуемых ситуациях. Но, в то же время, они представляют собой и монографические исследования. Ситуация в отдельном городе описывается в понятиях, которые делают ее сопоставимой с ситуациями в других городах. Обследования не предлагали широко обоснованных обобщений, но предоставляли массу материала, вызывающего вопросы и

⁵ Booth, Op.cit., I, 5-6.

⁶ *The Springfield Survey: A Study of Social Conditions in an American City*, directed by Shelby M. Harrison; 3 vols. (New York: Russel Sage Foundation, 1918-1920).

выдвигающего гипотезы, которые затем могли быть исследованы статистически и сформулированы в количественных понятиях.

III. Городское сообщество

Во всех, или в большинстве этих обследований достаточно ясно проводится мысль о том, что городское сообщество, по мере своего роста и организации, представляет собой совокупность тенденций и событий, которые могут быть концептуально описаны и могут стать предметом независимого исследования. Эти исследования достаточно четко дают понять, что город – это особая организация с типичной биографией, и что отдельные города обладают достаточным сходством, чтобы знание, полученное об одном городе, могло считаться (до некоторой степени) истинным и для других городов.

Такое представление о городе стало центральной темой целого ряда специально подготовленных исследований городского сообщества в Чикаго, часть которых уже опубликована, а другие находятся в процессе подготовки к публикации⁷. Три из этой серии исследований – *The Hobo* Нельса Андерсона, *The Ghetto* Луиса Вирта и *The Gold Coast and the Slum* Харви Зорбо – посвящены исследованию так называемых естественных зон города. *The Hobo: A Study of a Homeless Man* (Бродяга: исследование бездомного человека) уникально, поскольку изучает работника, не имеющего регулярного заработка, в его среде, т.е. в районе города, где интересы и привычки таких рабочих-по-случаю были, так сказать, институционализированы. *The Ghetto* (Геммо) в свою очередь, – это исследование еврейского квартала, но в то же время это и история развития своего рода института еврейской жизни, который появился и расцвел в Средние века и сохранился в некотором виде и по сей день. А сохраниться ему удалось, потому что он выполнял определенную социальную функцию, позволяющую двум не ассимилированным народам жить вместе, участвовать в одной экономике, сохраняя при этом свою расовую и культурную целостность. *The Gold Coast and the Slum* (Золотой Берег и трущоба) – это исследование северного района города, который является не столько естественной зоной, сколько скоплением естественных зон, включая «Маленькую Сицилию» и «Золотой берег», а также обширную зону доходных домов между ними.

Район называется «естественной зоной» потому, что появляется незапланированно и исполняет определенную функцию, хотя эта функция может и противоречить чьим-либо планам (как это бывает в случае с трущобами). Естественная зона имеет свою естественную историю. Существование таких естественных зон, каждая из которых исполняет свою особую функцию, указывает на то, чем оказывается город при более подробном анализе – не просто артефактом, как это было принято считать ранее, но в определенном смысле организмом.

Город, по существу, является констелляцией естественных зон, каждая из которых имеет свою специфическую среду и свою особую функцию в городской экономике в целом. Характер соотношения различных естественных зон города наиболее четко обнаруживается в отношении «город – пригород». Очевидно, что пригороды большого города являются просто продолжением городского сообщества. Каждый пригород, выталкиваемый в открытые просторы, отличается по своему характеру от любого другого пригорода. А метрополис, таким образом, представляет собой огромный движущий и сортирующий механизм, который еще не вполне понятными способами безошибочно отбирает людей, более всего пригодных для проживания в том или ином районе и в той или иной среде. Чем крупнее город, тем больше у него пригородов, и тем более определен их характер. Город растет в ходе экспансии, но он приобретает свой особый характер в ходе селекции и сегрегации своего населения; так, что каждый индивид непременно находит место, где он может жить, или же – где он должен жить⁸.

⁷ Robert E. Park, E.W. Burgess et al., *The City* (Chicago, 1925).

⁸ См. статью E.W. Burgess. *The Growth of the City* в кн.: R.E. Park, et al. *The City*, pp. 47-62.

В результате недавних исследований в Чикаго обнаружилось, до какой невероятной степени может развиваться такая сегрегация. В Чикаго есть районы, где почти нет детей, есть районы, где половина мальчиков-подростков хотя бы раз в год регистрировались в полицейских участках как правонарушители⁹; есть районы, где не бывает разводов, а есть такие, где процент разводов выше, чем в любой другой административной единице Соединенных Штатов (за одним исключением)¹⁰.

Соотношение возрастных и половых групп значительно варьирует в различных частях города, и эти вариации являются зависимыми показателями других – культурных – различий в составе населения.

Из этого, однако, не следует, что население различных естественных зон города можно описывать как однородное. Люди вообще живут вместе не потому, что они похожи, но потому, что они нужны друг другу. Это в особенности верно для больших городов, где социальные дистанции сохраняются несмотря на географическую близость, и где каждое сообщество, вероятнее всего, состоит из людей, проживающих вместе и связанных отношениями, которые, скорее, можно описать как символические, нежели социальные.

Но с другой стороны, каждое сообщество представляет собой в определенной степени независимое культурное образование, со своими стандартами, представлениями о должном, о приличиях и о том, что достойно уважения. По мере того, как человек взрослеет, или ввязывается в борьбу за статус в сообществе, он непременно перемещается из одного района в другой – возносится на Золотой Берег или опускается в трущобы, или, возможно, занимает вполне сносное положение где-то между ними. В любом случае, он знает, как более или менее успешно приспособиться к условиям и к правилам того района, куда он попадает. Регистрационные записи в социальных агентствах и других подобных учреждениях позволяют и дальше проследить миграции отдельных индивидов и семей и получить информацию относительно их субъективных переживаний, установок и умонастроений, взглядов на жизнь, а важнее всего – их изменяющиеся представления о себе самих, соотносимые с их перемещениями из одной среды в другую. Опубликованные в последнее время многочисленные истории жизни иммигрантов предоставляют материал как раз этого рода.

Чем больше мы понимаем установки и истории жизни индивидов, тем больше мы узнаем сообщество, в котором они живут. С другой стороны, чем больше мы знаем среду, в которой обитает (или обитал) индивид, тем более понятным становится для нас его поведение. Это так, поскольку, если темперамент является врожденным, то характер и привычки формируются под влиянием среды.

По сути дела, большинство наших обычных поведенческих проблем фактически решается (если решается вообще) за счет перемещения индивида из той среды, где он ведет себя плохо, в ту среду, где он ведет себя хорошо. И здесь, опять же, социальная наука достигла того уровня, который, можно считать, приближается к лабораторному эксперименту. Для такого рода экспериментальных целей город с его естественными районами становится «системой координат», т.е. инструментом для контроля наших наблюдений над социальными условиями и их отношением к человеческому поведению.

IV. Индивид

Благодаря присущей обществу и социальным отношениям природе, мы обычно обнаруживаем, что наши социальные проблемы олицетворены в отдельных личностях и в поведении отдельных индивидов. Именно поэтому социальные проблемы зачастую сводятся к проблемам индивидуального поведения, а поскольку социальные отношения в конечном счете и по сути являются личностными отношениями, то установки и поведение индивидов выступают основными источниками нашего знания об обществе.

⁹ См.: Clifford R. Shaw. *Delinquency and Crime Areas in Chicago* (Chicago, 1929)

¹⁰ Ernest R. Mawrer. *Family Disorganization*, pp. 116-23.

Город всегда был неиссякаемым источником клинического материала для изучения человеческой природы, поскольку он всегда был источником и средоточием социального изменения. В совершенно стабильном обществе, где человек достиг полного биологического и социального равновесия, вряд ли возникнут какие-либо социальные проблемы, а тревоги, душевные конфликты и чаяния, подстегивающие цивилизованного человека напрячь все свои силы и тем самым превращающие его в проблему для общества и для самого себя, отсутствуют.

Видимо как раз с тех, кого Зиммель называл внутренними врагами – бедных, преступников и душевнобольных, – и начались исследования личности. Но лишь совсем недавно бедность и преступность, равно как и сумасшествие, стали учитываться как проблемы личности и поведения. Сегодня можно утверждать, что социальная служба признана в качестве отрасли медицины, и так называемый психиатрический социальный работник заменил собой, или, по меньшей мере, дополнил, сочувствующего посетителя. Надзирающий за условно осужденными, надомный учитель, заведующий общественной детской площадкой – все они получили новый профессиональный статус по мере того, как было признано, что социальные проблемы – в основе своей проблемы поведения.

Изучение проблем личности получило новый стимул, когда в Чикаго, в 1899 году, был организован первый в Соединенных Штатах суд для несовершеннолетних. Суды для несовершеннолетних сразу же стали клиниками поведения (в той мере, в какой это практиковалось при обстоятельствах их возникновения). Отпуская малолетнего преступника на поруки, под наблюдение надзирающего должностного лица, они как бы предлагали ему участвовать в эксперименте, целью которого была его собственная реабилитация.

Только с образованием Психопатического института для несовершеннолетних¹¹ вместе с Чикагским Судом для несовершеннолетних стали возможными те самые систематические исследования Хили, которые легли в основу знаменитой книги «Индивидуальный преступник» (*The Individual Delinquent*), опубликованной в 1915 году. За ней последовали такие же исследования в Бостонском Фонде Судьи Бейкера и учреждение подобных же институтов для изучения детей и так называемого клинического поведения во всех уголках страны, а именно: Исследовательская лаборатория благосостояния детей в университете Айовы, Институт благосостояния детей в университете Миннесоты, Институт исследования благосостояния детей в Учительском колледже в Нью Йорке, Институт сопровождения детей и поддерживаемая местными властями клиника сопровождения детей, учрежденная в результате осуществления программы Фонда Содружества по Предотвращению несовершеннолетней преступности в Сент-Луисе, Далласе, Лос-Анджелесе, Миннеаполисе, Сент-Паоле, Кливленде и Филадельфии¹².

Исследования преступности несовершеннолетних и поведенческих проблем в целом были основаны на прочном фундаменте и в Чикаго, когда в 1926 году доктор Герман М. Адлер организовал Фонд Исследований поведения (*Behavior Research Fund*). Доктор Адлер собрал вместе большую группу студентов и экспертов, запустил административный механизм фиксирования точных научных данных, как психиатрических, так и социальных, которые, по мере их накопления, создали базу данных и информации, которая теперь обрабатывается в ходе статистического анализа и дает невероятно важные результаты.

Исследования Института исследований подростков и Фонда исследований поведения в определенном смысле уникальны. Они являются одновременно и психиатрическими, и социальными исследованиями, т.е. не просто исследованиями индивида и его поведения, но и его среды, а также ситуации, реакцией на которую и является его поведение. Это и есть реализация в форме определенной программы концепции, ставшей темой ряда конференций, проводимых психиатрами и представителями других социальных наук, с целью определения соотношения психиатрических и социальных исследований и установления роли, которую

¹¹ Теперь это Институт исследований молодежи (Institute for Juvenile Research)

¹² Для обзора и анализа направления исследований детства см.: W.I. Thomas and Dorothy S. Thomas. *The Child in America* (New York, 1928).

могла бы сыграть психиатрия в сотрудничестве с социальными науками для изучения и разрешения социальных проблем.

И теперь уже нет сомнений (если они когда-либо и были) в том, что представление индивида о себе самом, роль, которая ему отведена в обществе и, наконец, характер, который он приобретает, в большой степени определяются характером ассоциаций, в которые он вступает, а в целом – миром, в котором он живет. Город – это комплекс таких миров, которые соприкасаются, но никогда полностью не взаимопроникают.

Различия между городскими районами в отношении типа и характера социальной жизни, которую они поддерживают, несомненно настолько же велики, как и стандарты жизни, которые в них сохраняются, или как цена на землю, на которой они расположены. Ряд важнейших локальных исследований, предпринятых в Чикагском университете, ставит своей целью разграничение и характеристику всех значительных зон города. Эти исследования основываются на предположении, что более полное знание локальных образований и населяющих их людей прольет новый свет на огромные различия между зонами города по количеству и уровню разводов, преступности, (в том числе несовершеннолетней) и по другим признакам социальной дезорганизации. Результаты этой работы могут быть полезными любому социальному агентству, которое непосредственно (или косвенно) занимается этими проблемами. Но если еще более четко определить условия проводимого в настоящее время социального эксперимента, то это придаст городу характер социальной лаборатории в несколько более реалистическом смысле, чем это было до сих пор.

V. Институты

Город стал предметом исследования в самых различных отношениях. Уже существует обширная литература по географии города, есть множество исследований, рассматривающих город как физический объект, включая исследования жилищных условий, городского планирования и муниципального проектирования. Н.С. Б. Грас в своем *«Введении в экономическую историю»* сделал город центральной темой в истории экономики, которая развивалась постадийно – от деревни, небольшого города, к сегодняшней экономике метрополиса. По сути дела экономическая история приобретает новое значение, когда она написана с экологической и региональной точки зрения, и когда город с его рынком трактуется как центр постоянно расширяющейся области, которую он непрерывно консолидирует и на которую он распространяет свой контроль и господство.

Политические и административные проблемы городов стали занимать важное место в политической науке, и значение это возросло с ростом населения городов, с увеличением их сложности и усилением их влияния.

Городское сообщество является, наконец, (поскольку оно сейчас, как и всегда было плавильным котлом рас и культур) регионом возникновения новых институтов по мере упадка старых, их преобразования и исчезновения.

Семья, по крайней мере по своему происхождению, не является, видимо, институтом. Скорее она – первейшая и простейшая форма общества, форма, сохранившаяся, несмотря на постоянные преобразования под воздействием изменяющихся обстоятельств наполненного событиями человеческого развития. Семья, очевидно, сформировала основной образец для любого типа цивилизации, за исключением нашей. Западная цивилизация основывается на городе, на полисе, как его называли греки, и по своему происхождению является, скорее, политической, нежели семейной. Общества, организованные на родоплеменной основе, на обычае и на семейных узах в городах-государствах Греции и Рима были вытеснены обществами, основанными на гражданских правах и политической организации.

В настоящее время семья находится в процессе изменения и дезинтеграции практически во всех частях цивилизованного мира, включая и регионы, где она наиболее долго продержалась в своей изначальной форме, – в Японии и Китае. Эти изменения семейного уклада, однако, более стремительно развиваются в городах, чем где бы то ни было

еще. Этим изменениям способствует все, что составляет особенности городской жизни, – мобильное население, широкое разделение труда, распространение и умножение муниципальных институтов и различного рода социальных удобств. Школы, больницы и многочисленные частные агентства, предлагающие услуги, постепенно взяли верх, перехватывая функции, когда-то исполняемые дома, в семье, и тем самым способствовали упадку этого древнего института и снижению его социальной значимости.

И если старые формы семьи в городской среде переживают упадок, то именно в городе имеет место большинство экспериментов по выведению новых форм семейной жизни. Именно поэтому наиболее успешно изучать институт семьи можно как раз в городах, а не где бы то ни было еще.

Город и те условия жизни, которые он диктует, очень сильно способствуют секуляризации всех аспектов социальной жизни, и это глубоко отразилось на организации церкви. В последнее время было проведено множество локальных исследований городских и сельских церквей, но до сих пор не было исследований, показывающих степень изменений, затронувших структуру и функции церкви как социального института.

Однако несомненно, что эти изменения происходят, и что по мере роста интереса к изучению цивилизованного человека и развития методов таких исследований, как это имеет место в отношении первобытного человека, изменения в современных религиозных институтах приобретут то значение, какого они пока не имеют.

В последние годы, в особенности в Чикаго, профессор Чарльз Мерриэм инициировал и вдохновил поиски более реалистического подхода к изучению действующих в условиях современного города политических процессов¹³.

Широко трактуемый политический процесс представляет собой нечто гораздо большее, чем формулирование законов законодателями и их интерпретирование судами. Он включает в себя целый цикл событий, который начинается с некоторого общего беспокойства, благодаря которому и появляются политические проблемы, и заканчивается принятием нового правила поведения на уровне нравов и обычаев сообщества. Пользуясь выражением, которое У. А. Томас сделал широко известным, такое изменение можно назвать новым определением ситуации.

Политический процесс включает в себя публичное обсуждение и определение проблем; формирование и выражение общественного мнения; выборы законодателей, оформление и приведение в действие законодательства; интерпретацию и использование закона и, наконец, общее принятие и молчаливое признание действия закона сообществом. Таким образом закон фактически переходит в обычай и закрепляется в привычках сообщества. Политический процесс включает в себя все действия правительства, а поскольку общество по сути своей есть организация социального контроля, то он охватывает, в конечном счете, все аспекты социальной жизни.

Организация бюро муниципальных исследований в Нью-Йорке, Чикаго и других городах, недавние исследования администрации уголовного права в Кливленде и Сент-Луисе указывают на прогресс и направление исследований в этой области.

Исследования группы политологов в Чикагском университете показательны не только в отношении сдвига в сторону более реалистического восприятия политического процесса, но и в отношении попыток использовать научные методы в описании и предсказании политического поведения, как это сделано в уже опубликованных исследовательских проектах «Не-голосующие» Чарльза Мерриэма и Гарольда Госнела, «Выход из голосования» Г. Госнела, «Первичные выборы в Чикаго в 1926 году: Исследование методов выбора» Кэрол Вуди, «Картер Харисон I: исследование политического лидерства» Ч. Джонсона, «Городской менеджер» Леонарда Уайта.

Самнер утверждает, что существуют два типа институтов: 1) те, которые вырастают, и 2) те, которые приводят в действие. Но институты не только приводят в действие; их, скорее,

¹³ См.: Charles E. Merriam. *New Aspects of Politics* (Chicago, 1925); *Four American Party Leaders* (New York, 1926); *Chicago: A More Intimate View of Urban Politics* (New York, 1929).

открывают и изобретают. Поначалу кажется, что институты всегда вырастают сами, но они растут обычно путем накопления и приращения особых изобретений¹⁴.

То, что делает город местом, особенно выгодным для исследования институтов и социальной жизни вообще, – это тот факт, что в городских условиях институты растут очень быстро. Они растут прямо у нас на глазах, и процесс их роста открыт для наблюдения и, таким образом, – для эксперимента.

Есть и еще один факт, делающий город предпочтительным местом для исследований социальной жизни и придающий ему качество социальной лаборатории: это то, что в городе любое качество человеческой природы не только наглядно проявляется, но и усиливается.

В городе, на свободе, каждый индивид, каким бы эксцентричным он ни был, непременно находит ту среду, в которой он может развить и каким-либо образом проявить особенности своей природы. И маленькое сообщество иногда терпит эксцентричность, но город зачастую и вознаграждает ее. Несомненно, город притягивает тем, что здесь любой тип индивида – будь то преступник или попрошайка, равно как и гений – всегда найдет подходящую компанию, и порок или талант, сдерживаемый в более тесном кругу семьи или в более узких рамках малого сообщества, обнаруживает здесь моральный климат, в котором он расцветает.

А в целом, все заветные чаяния и все подавленные желания находят в городе то или иное выражение. Город усиливает, простирает и выставляет напоказ человеческую природу во всех ее разнообразных проявлениях. Именно это и привлекает, или даже притягивает, в город. И именно это делает его наилучшим из всех мест для раскрытия потаенных человеческих сил и для изучения человеческой природы и общества.

Перевод с английского С.П. Баньковской

¹⁴ Sumner. *Folkways*, pp. 48-50.

Роберт Парк

ОРГАНИЗАЦИЯ СООБЩЕСТВА И РОМАНТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР*

I. Постановка проблемы

Недавние локальные исследования в Чикаго показывают, что число компетентных людей в сообществе зачастую не является действительным показателем (если можно использовать это выражение в этом отношении) компетентности сообщества как такового. Высокий коэффициент интеллектуальности сообщества отнюдь не всегда означает и высокую эффективность сообщества.

Первое объяснение такого положения дел, которое приходит на ум, то, что компетентные люди – это, предположительно, специалисты в очень узкой области человеческого опыта и глубоко безразличные к интересам конкретной географической области, в которой им случилось обитать.

Видимо именно некомпетентные люди все еще испытывают живой интерес к делам локальных сообществ наших больших городов. Женщины, в особенности женщины без специального образования, и иммигранты, сегрегированные и вмурованные в невидимые стены чужого для них языка, вынуждены испытывать нечто вроде интереса к своим соседям. Дети в больших городах, по необходимости живущие собственно на земле, и являются настоящими соседями. Банды мальчишек – это соседские образования. Политики – это профессиональные соседи. Когда мальчишеские банды вырастают, как это зачастую бывает, в локальную политику, местный политический босс принимает по отношению к ним роль патрона, а они принимают в отношении него роль клиентов.

Компетентные люди – профессионалы – напротив, большую часть времени проводят за границей, либо в прямом смысле, физически, либо в воображении. Они живут в городе в своих конторах и клубах. Они приходят домой спать. Многие наши пригороды все больше напоминают спальни, в той мере, в какой имеются в виду профессиональные группы. Очень редко кто-то из людей, достаточно знаменитых или достаточно компетентных, чтобы занять свое место в справочнике «Кто есть кто», находит время для чего-то большего, кроме снисходительного интереса к своему локальному сообществу.

С другой стороны, компетентные люди горячо интересуются делами своей профессии. И если бы мы могли организовать нашу политику так, как русские стремятся организовать свою – на основе профессий, в советы, – возможно, это пробудило бы в нашей интеллигенции более, чем дилетантский или спортивный интерес к локальной политике и проблемам локального сообщества. Но настоящая ситуация не такова.

Наша политическая система основана на предположении, что местное сообщество является локальным политическим образованием. Если локальное сообщество организовано, осознает свои локальные интересы, и имеет свое собственное мнение, то тем самым процветает демократия. Есть данные, что пятьдесят процентов избирателей в стране не пользуются своим правом голоса. Если это считать показателем их равнодушия к интересам локального сообщества, то, в то же время, это можно считать и мерой эффективности (или неэффективности) локального сообщества.

Центр национальной ассоциации сообществ (The National Community Center Association) представляет собой пример многочисленных попыток за последние годы

* Robert E. Park. Community Organization and the Romantic Temper. – The City. Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban Environment/ Ed. By R.E. Park and E. W. Burgess. – The University of Chicago Press, 1984. – pp.113-122.

© Центр фундаментальной социологии, 2002г.

© Баньковская С.П., 2002г.

изменить ситуацию, один из признаков которой – отказ от голосования. Организации сообщества имеют своей целью раскрыть, организовать и сделать доступными для локального сообщества ресурсы локального сообщества, в особенности его людские ресурсы. В той мере, в какой это им удастся, сообщество и является эффективным. Как оценить эти ресурсы, как их использовать – это и есть проблемы.

II. Определение сообщества

Но что такое сообщество и что такое его организация? Прежде, чем оценивать эффективность сообщества, следует, по крайней мере, описать его. Простейшее возможное описание сообщества следующее: это собрание людей, занимающих более или менее четко определенную область. Но сообщество – это нечто большее, чем данное определение. Сообщество – это не просто собрание людей, но собрание институтов. Не люди, но институты являются конечным и решающим фактором, отличающим сообщество от других социальных констелляций.

Среди институтов сообщества всегда будут выделяться домашние хозяйства и кое-что еще – церкви, школы, дворы, местные места собраний, возможно, театры и, конечно же, деловые и промышленные предприятия. Сообщества вполне можно классифицировать по количеству и разнообразию институтов – культурных, политических и профессиональных, – которые они в себя включают. Это могло бы указать на то, в какой мере они автономны или же, наоборот, – в какой степени функции сообщества опосредованы, так сказать, и включены в более обширное сообщество.

Более обширное сообщество существует всегда. Любое отдельное сообщество является частью какого-либо более обширного и всеобъемлющего сообщества. Больше не существует сообществ полностью изолированных и отдаленных, все они взаимозависимы экономически и политически. Всеохватывающим является мировое сообщество.

А) *Экологическая организация.* В пределах любого сообщества его институты – экономические, политические и культурные – оказываются более или менее четко определенными и распределенными. Например, в сообществе всегда есть центр и периферия, чем и определяется положение каждого отдельного (внутреннего) сообщества относительно других. Внутри таким образом определенной области локальное население и локальные институты группируются в некоторый характерный тип, который зависит от географии, линий коммуникации и цен на землю. Это распределение населения и институтов мы можем назвать экологической организацией сообщества.

Городское планирование – это попытка направлять и контролировать процесс экологической организации. Городское планирование, однако, не такая простая вещь, как это может показаться. Города, даже такие, как Вашингтон, очень тщательно спланированные, всегда уходят из-под контроля. Существующий план города никогда не является простым артефактом, он всегда выступает таким же продуктом природы, как и замысла. Но план – это лишь один из факторов эффективности сообщества.

Б) *Экономическая организация.* В пределах экологической организации, в той мере, в какой существует свободный обмен товаров и услуг, неизбежно вырастает и другой тип организации сообщества, основанный на разделении труда. Это то, что мы можем назвать профессиональной организацией сообщества.

Профессиональная организация, как и экологическая, представляет собой продукт конкуренции. В действительности каждый индивидуальный член сообщества вынужден в результате конкуренции с остальными членами делать не то, что он *хочет*, но то, что он *может* сделать. Наши заветные желания редко реализуются в наших занятиях. Борьба за жизнь определяет, в конечном счете, не только то, где мы должны жить в пределах сообщества, но и то, что мы должны делать.

Количество и разнообразие профессий и занятий в пределах сообщества является, по всей видимости, одним из показателей его компетентности, поскольку в более обширном разделении труда и в условиях большей специализации – в разнообразии интересов и задач,

– в обширной неосознанной кооперации городской жизни отдельный индивид имеет не только возможность, но и вынужден выбирать свое призвание и развивать свои индивидуальные таланты.

Тем не менее, в борьбе за свое место в изменяющемся мире мы несем огромные потери. Профессиональная подготовка – один из способов подготовиться к этой ситуации; предложенная государственная организация занятости – другой. Но до тех пор, пока каким-либо путем не будет достигнута более рациональная организация промышленности, вряд ли стоит надеяться хоть на малейший прогресс в этой области.

В) *Культурная и политическая организация.* Конкуренция в человеческом обществе никогда не бывает неограниченной. Всегда в нем существуют обычай и закон, которые налагают определенные ограничения и сдерживают непосредственные природные порывы индивидуального человека. Культурная и политическая организация сообщества покоится на профессиональной организации, так же, как последняя, в свою очередь, вырастает из экологической организации и основывается на ней.

Именно это последнее подразделение, или сегмент, организации сообщества и представляет основной интерес для центральных ассоциаций сообщества. Политика, религия, благосостояние сообщества, различного рода досуг (гольф, бридж и т.п.) представляют собой занятия свободного времени, и именно свободное время сообщества мы и стремимся организовать.

Аристотель, представлявший человека животным политическим, жил много веков тому назад, но его описание человека намного более точно, чем сегодняшние. Аристотель жил в мире, где искусство, религия и политика были основными интересами в жизни, а публичная жизнь была естественным времяпрепровождением каждого гражданина.

В современных условиях жизни, когда разделение труда зашло так далеко, что, приводя известный случай, для того, чтобы сшить костюм, нужно проделать сто пятьдесят различных операций, ситуация совершенно иная. Большинство из нас на протяжении большей части времени бодрствования настолько заняты исполнением какой-нибудь мельчайшей задачи в общем деле, что мы зачастую теряем из виду все сообщество, в котором мы живем.

С другой стороны, наше свободное время заполняется неутомимым поиском впечатлений. Этот романтический порыв, желание убежать от повседневной скуки домашней жизни и жизни сообщества, толкает нас за его границы в поисках приключений. Это романтическое стремление, которое находит свои самые крайние выражения в танцзалах и джазовых клубах, характерно почти что для каждого проявления современной жизни. Политическая революция и социальная реформа сами по себе зачастую являются лишь выражениями этого романтического порыва. Милленаризм в религии, миссионерство, в особенности стремящееся «в отдаленные области», – все это проявления одного и того же желания уйти от реальности.

Мы всюду охотимся за синей птицей счастья, а теперь мы гонимся за ней на автомобилях и самолетах. Новые средства передвижения позволили миллионам людей осуществить в своей настоящей жизни полеты, о которых они раньше только могли мечтать. Но эта физическая подвижность есть не что иное как отражение соответствующей ей ментальной нестабильности.

Это беспокойство и тяга к приключениям – по большей части пустые иллюзии, поскольку они непродуктивны. Мы стремимся бежать от унылого мира, вместо того, чтобы обратиться к нему и преобразовать его.

Искусство, религия и политика все еще представляют собой средства, с помощью которых мы участвуем в общественной жизни, но они перестали быть основным нашим интересом. Будучи занятиями свободного времени, они теперь вынуждены соревноваться за внимание с более привлекательными формами досуга. Расточительное отношение к досугу, как мне кажется, обернется большими потерями для американской жизни.

III. Измерение общественной эффективности

Итак, вот наше сообщество. Как нам измерить его эффективность? Здесь нам предстоит узнать, я должен признаться, еще очень многое.

Самый простой и элементарный способ оценить компетентность и эффективность сообщества, отличную от компетентности и эффективности составляющих его отдельных индивидов, – это провести сравнительное исследование социальной статистики этого сообщества. Бедность, болезни, преступность зачастую называют социальными болезнями. Они, можно сказать, являются мерилем того, насколько сообщество оказалось способно обеспечить среду, в которой индивиды его составляющие, могут жить. Или же, утверждая то же самое с противоположных позиций, можно сказать, что это мерило того, насколько индивиды, составляющие сообщество, смогли приспособиться к среде, которую им предложило сообщество.

Сообщество иммигрантов существует, совершенно очевидно, для того, чтобы дать жизнь иммигрантам. Под жизнью мы, однако, понимаем нечто большее, нежели просто физическое существование. Человек – это такое существо, что если он живет, то живет в обществе, в своих надеждах, мечтах и в представлениях других людей. Так или иначе, человек вынужден осуществлять все свои заветные желания, а этих желаний, по У. Томасу, четыре:

Человек стремится, во-первых, к безопасности, т.е. ему нужен дом, откуда он может выйти и куда он может возвратиться;

Он стремится, во-вторых, к новому опыту, впечатлениям, ощущениям, приключениям;

Он стремится, в-третьих, к признанию, т.е. он должен принадлежать к некоторому обществу, в котором у него есть статус, к некоторой группе, в которой он что-то собой представляет, короче говоря, так или иначе он должен быть личностью, а не просто винтиком в экономической или социальной машине.

Наконец, в-четвертых, он хочет иметь привязанности, тесную связь с кем-то или с чем-то; пусть это будет просто кошка или собака, которую он любит и чувствует взаимную любовь. Все специфические человеческие желания, в конечном счете, сводятся к этим четырем категориям, и ни один человек не сможет быть вполне счастлив и доволен, если тем или иным способом не реализует все эти четыре желания более или менее адекватно¹.

Когда я несколько месяцев тому назад был на Западном побережье и изучал там то, что принято называть «расовыми отношениями», я был поражен заметной разницей между группами иммигрантов в их способности приспособляться к американской среде и удовлетворять свои жизненные интересы в рамках ограничений, налагаемых на них нашими обычаями и законами.

Иммигрантские сообщества, по всей видимости, включают в круг своих интересов и своих организаций все жизненно важное. Любое иммигрантское сообщество имеет религиозную организацию – синагогу, храм, церковь – с ее различными взаимосвязанными и взаимозависимыми организациями взаимопомощи. Это сообщество имеет также свои деловые предприятия, свои клубы, салоны, кафе, рестораны, места собраний и прессу. Любое иммигрантское сообщество в Америке имеет свою прессу, даже если в той стране, откуда оно иммигрировало, у него не было прессы. Колония иммигрантов чаще всего – это не что иное, как пересаженная на новую землю деревня; Америка фактически была колонизирована не расами или нациями, но деревнями.

Что до компетентности этих эмигрантских сообществ и их способности создать среду, пригодную для жизни иммигрантов, то об этом есть некоторые сведения в статье Реймонда Пирла «Расовые истоки богадельни в Соединенных Штатах», опубликованной в журнале «Science» (October 31, 1924). Один из параграфов этой статьи обрисовывает ситуацию отношений между урожденными в Америке и приезжими:

¹ Robert E. Park. The Significance of Social Research in Social Service// Journal of Applied Sociology (May-June, 1924), pp. 264-65.

Если на 1 января 1923 года в богадельнях находилось 59,8 урожденных в Америке белых на 100 000 представителей этой же категории, то соответствующая цифра для приезжих составляла 173,6. Некоторые усматривали в этом факте угрожающее значение. Возможно, они и правы. Мне он представляется лишь интересным выражением тех трудностей, с которыми человеческий организм сталкивается во время адаптации к новой среде.

Если эти цифры рассматривать, как предлагает доктор Пирл, в качестве показателя трудностей, с которыми сталкивается человеческий организм, приспособляющийся к новой среде, то более пристальное изучение различных расовых групп предоставляет некоторые удивительные результаты.

Перво-наперво, они показывают значительные расхождения между различными иммигрантскими группами по способности приспособляться к американской жизни; во-вторых, они показывают, что расы и национальности, проживающие здесь дольше других, менее всего способны соответствовать требованиям новой среды. Доктор Пирл пишет об этом так:

За некоторыми пустяковыми исключениями все страны, из которых сегодня закон *поощряет* иммиграцию, внесли свою лепту в пополнение богаделен нищими в 1923 году в количестве, *превышающем* их представительство в населении в 1920 году. С другой стороны, опять же за некоторыми незначительными исключениями, те страны, из которых настоящий закон *не поощряет* иммиграцию, оказываются в нижних строчках диаграммы, поскольку они приносят *меньшую* долю нищих в богадельнях в 1923 году, чем доля их представительства в общем населении страны в 1920 году.

В этой связи меня поразили две вещи: 1) менее всего среди бедных в богадельнях представлены недавние иммигранты; 2) среди этих недавних иммигрантов, очевидно, именно те, кто по той или иной причине меньше всего хотели или оказались способны участвовать в американской жизни менее всего, и пополнили бедноту в богадельнях.

Почему это так? Я полагаю, что решающими факторами здесь были не биологические, но социологические. Другими словами, объяснение статистических данных по богадельням в меньшей мере зависит от расового темперамента, чем от социологической традиции. Как раз те иммигранты, которые сохранили в этой стране свои простые деревенские обычаи и организацию взаимопомощи, оказались наиболее способны противостоять потрясениям от столкновения с новой средой.

Эта тема требует дальнейшего исследования. Что может показать сравнительное исследование различных расовых и языковых групп в отношении их заболеваемости, преступности, дезорганизации семьи? Что может дать сравнение японцев, китайцев и мексиканцев в отношении преступлений? Я упомянул эти три группы, поскольку именно они живут и работают бок о бок на Западном побережье.

Перепись населения 1910 года показала, что у мексиканцев самый высокий среди иммигрантских групп в США уровень преступности. Я уверен, что, когда мы получим данные, мы увидим, что у японцев уровень преступности самый низкий, по крайней мере – среди иммигрантских групп на Западном побережье.

Объяснение заключается в том, что японцы (это же можно отнести и к китайцам) организовали то, что можно было бы назвать «организацией контроля», которая решает как их внутренние споры, так и проблемы с внешним большим сообществом.

Японская ассоциация, как и Шесть китайских компаний, организована, чтобы держать своих земляков подальше от судов. Но Японская ассоциация – это нечто большее, чем арбитражный суд или примиряющая инстанция. Ее функция заключается не просто в том, чтобы разрешать споры, но в том, чтобы поддерживать обычаи локального японского сообщества и помогать японцам всеми практическими средствами (в основном – образованием) пробивать себе дорогу в любом сообществе, где они живут. Японцы лучше всех, возможно, за исключением евреев, информированы о том, как живут их соотечественники в Америке.

Один из факторов, который существенно поднял моральный дух японцев (и евреев тоже), – это их борьба за сохранение их расового статуса в Соединенных Штатах. Ничто так не укрепляет внутригрупповую солидарность, по замечанию Самнера, как угроза извне. Ничто так не способствует дисциплинированию национального или расового меньшинства, как противостояние национального или расового большинства. Народы, которые добиваются сегодня или добились в последнее время наибольшего успеха в Америке, – это, как я предполагаю, евреи, негры и японцы. Конечно, не может быть никакого сравнения по степени компетентности между евреями, японцами и неграми. Из всех иммигрировавших в Соединенные Штаты народов евреи самые способные и наиболее прогрессивные, негры же только-только приобретают свое расовое самосознание и еще слегка побаиваются последствий этого нового состояния.

Общим для евреев, негров и японцев является то, что их конфликт с Америкой был достаточно жестким, чтобы создать для каждой из этих групп новое чувство расовой идентичности и дать им солидарность, которая вырастает из общности основ. Существование в народе чувства общих основ в конечном итоге определяет эффективность группы.

В некотором смысле эти сообщества, в которых проживают свои жизни наши иммигранты, можно рассматривать как модель нашего общества в целом. Мы стремимся делать с помощью наших локальных организаций то, что привлечет внимание и интерес к маленькому локальному миру. Мы приветствуем новое местничество, хотим инициировать новое движение, которое будет противостоять романтизму, всегда устремляющему свои взоры за горизонт, которое признает границы и необходимость работы в этих границах. Наша задача состоит в том, чтобы побуждать людей искать Бога в своей деревне и видеть социальные проблемы в своем окружении. Потому-то иммигрантские сообщества заслуживают дальнейшего изучения.

Перевод с английского С.П. Баньковской

Анри Лефевр

ИДЕИ ДЛЯ КОНЦЕПЦИИ НОВОГО УРБАНИЗМА*

«Нет человека на земле, которому не мог бы оказать помощь Архитектор; именно ему дана способность освобождать от несчастий. Гениальный человек создаст из камня, глины множество жилищ, которые будут радовать своим разнообразием. Посмотрите на все, чем вы ему обязаны; он радуется вашим органам чувств, дает пищу вашим идеям, сосредоточивает их на всем, что делает их прекрасными. Он предохраняет страдающее человечество от зол, которые его осаждают. Соперник бога, который сотворил круглую громаду, он сделает больше, чем тот: он ее обработает; он завершит воздвижение гор, которые пугают робких; пророе русла потоков, чтобы могли свободно течь прозрачные воды; он украсит пустыни. Возвышая человека над самим собой, он распространит полезные знания, будет черпать в сокровищнице философии, погребенной под тяжестью варварского века, истинное богатство, которое придаст блеск веку нашему, заново прославив род человеческий. Соединяя хижины с дворцами, невежество со знанием, сколько новых средств ты нам готовишь!»

Клод Никола ЛЕДУ

В городах, порожденных ясными и рациональными конструкторскими замыслами, современный человек оказывается перед необходимостью создавать элементы живого организма. Перед ним стоит проблема жизни и созидания.

Эту проблему новых городских ансамблей можно сравнить с проблемой, стоящей перед биологом или биохимиком в лаборатории. Тот хочет создать биологическую жизнь, мечтает о достижении такой теоретической задачи, в этом смысл его исследований. Он стремится создать ее, используя необработанные материалы, либо вещества, подвергшиеся определенной естественной переработке. Если он не может создать в пробирке *ex nihilo* (из ничего – лат.) живую субстанцию, он надеется приблизиться к этому научному пределу и когда-нибудь его достичь.

Равным образом можно представить себе кибернетика, который развивает свой инструментарий в направлении мыслительных операций, в том числе недоступных для мыслящих существ. Он также надеется создать «мысль мыслящую». Некоторые полагают, что эта цель ныне уже достигнута.

Человек творит в двух различных формах: одна из них – спонтанная, естественная, слепая, бессознательная, другая – интенциональная, рефлексивная, рациональная. Фундаментальная проблема сегодня во всех областях – дать возможность второму типу созидания догнать первый и превзойти его.

* *H. Lefebvre. Du rural à l'urban. Propositions pour un nouvel urbanisme. P., 1970. P. 183-195. Revue: Architecture d'aujourd'hui. 1967. № 132.*

© Центр Фундаментальной социологии, 2002 г.

© Эфиров С., 2002 г.

Социальные сообщества, народы и нации, спонтанно создали исторические города, которые живут своею жизнью с более или менее глубокими корнями. Проблема нового урбанизма в философской постановке заключается в целенаправленном и рациональном созидании (не без необходимости преодолевать некоторые ограниченные формы разума) социальной жизни, равной или более высокой, чем жизнь, порожденная историей. Можно предположить, что эта проблема будет разрешаться путем последовательного приближения, нащупывания, исправления ошибок, что нисколько не исключает скачков, являющихся результатом гениальных инициатив, изобретений или открытий. То, что мы – хозяева жизни, здесь, как и в других случаях, должно выражаться в конструировании жизни.

С научной (то есть, в данном случае с *социологической*) точки зрения отрицательный опыт может иметь такое же и даже большее значение, чем положительный. Неудача может иметь такой же, даже больший интерес, чем ограниченный успех, если она выявляет недостатки используемой гипотезы и дает позитивный опыт, более широкий и, может быть, решающий.

В случае городских ансамблей речь идет об опыте мирового уровня, одной из первых акций такого рода (наряду с исследованиями по ядерной физике, космической баллистике, биохимии, электронике и кибернетике).

Так вот, очевидна неудача (более или менее глубокая, более или менее признаваемая) на мировом уровне. Теперь нам надлежит выявить значение этого огромного отрицательного опыта. Посредством критической мысли, философской, социологической, методологической, более всеохватывающей, чем простые технологические соображения. Такие методологические размышления должны поставить под вопрос, кроме всего прочего, примат технического подхода.

* * *

Городские ансамбли, особенно самые большие, демонстрируют в действии *аналитическую мысль* (или, если угодно, чисто аналитический разум), доведенную до крайних пределов.

Эта мысль различает и разделяет все, что может различаться и разделяться в реальности (человеческой, социальной, исторически произведенной общественными группами). Она соответствует, с одной стороны, практической и теоретической деятельности, которая приводит к крайнему разделению труда – иначе говоря, к парцеллярному и специализированному труду – в промышленном производстве, как и в научных исследованиях и художественном творчестве. С другой стороны, она соответствует аналитическому методу, который открывает простое в сложном и стремится воссоздать сложное из простого. Слово «соответствует», употребленное здесь, не совсем точно. Это тот самый аналитический метод, постоянно совершенствуемый, начиная с Декарта, который все еще используется во всех областях, хотя и оспаривается в теоретическом плане многими крупными течениями современной мысли.

Этот аналитический метод и эта мысль являлись и все еще являются исключительно эффективными. Именно поэтому они стали и остаются формой мышления технических специалистов, наиболее продуктивных, в наибольшей мере озабоченных быстрым достижением действенных результатов. По-видимому, мысль и общество должны были пройти через это. Более того, этот период с его позитивными и негативными сторонами еще не кончился. Нельзя приписывать эффективность и крайности аналитической мысли какому-либо политическому режиму, идеологии, определенному обществу, как и достоинства и недостатки предельной специализации труда. Все идет так, как если бы это было необходимым этапом познания и всеобщим императивом деятельности.

Это отнюдь не означает, что мы не должны ставить перед собой как важнейшую задачу превзойти эту форму мысли и эффективности. Прежде чем постичь реальность и живое, чтобы их понять и определить, наша мысль начинается с их расчленения; она выделяет

их элементы, умерщвляет их. После чего приходит потребность в единстве, иначе говоря, в «синтезе», которую сопровождает потребность в созидании. Прежде чем оказаться в состоянии созидать реальность, мы проходим через ее расчленение, анатомирование, одним словом, – через анализ. Только потом, проведя анализ настолько глубоко, насколько возможно, мы можем приступить к осуществлению более высокой задачи.

Нельзя, таким образом, упрекать только технических специалистов, использующих аналитический метод, в том, что они выступают в этом амплуа со всеми его заблуждениями. Быть может, эти «заблуждения» и «крайности» сами по себе имеют глубокий смысл. Вопрос сейчас в том, не пришло ли время поставить под сомнение преобладание аналитической мысли.

* * *

В крупных городских ансамблях, рассматриваемых в рамках ничем не ограничиваемого аналитического и технического подхода, наблюдается доведенное до крайних пределов расслоение.

Аналитическая мысль выделила в этой сфере (проецируя на нее в некоем подобии спектрального анализа сложную социальную структуру исторического города или техническую иерархию тех или иных предприятий) социальные условия рабочих, управленческого персонала, кадров и высших кадров, людей свободных профессий и т.д.

Она разделила людей по возрасту и полу. Известно, насколько общественная жизнь новых городских ансамблей страдает от неучастия в ней молодежи и пожилых людей. Все происходит так, как если бы живое человеческое сообщество предполагало единую совокупность всех возрастов в их взаимоотношениях, от детства до старости. Известно также, что производственная незанятость женщин и постоянные переходы мужчин с работы на работу заканчиваются в некоторых случаях своего рода сексуальной сегрегацией. Те идеи, которые мы здесь выдвигаем, не новы, изучались различными социологами. Единственно новое здесь – связь этих фактов с аналитической мыслью, трактуемой как характерный фактор, одновременно удивительно эффективный и ужасающе негативный.

Это далеко не все. Тот же фактор дал возможность выделить то, что представлялось в живом организме старого города (спонтанного или исторического) как единое целое – функции.

На всех уровнях – на уровне жилища, дома, соседского сообщества, квартала, города в целом – функции, совершенно иначе выглядевшие в спонтанном городском организме, оказались дифференцированными и обособленными. Это – функции обмена, оборота, труда, культуры, досуга и т.д. Архитекторы и урбанисты осуществили во времени и пространстве анатомический и гистологический анализ старого города (спонтанного или исторического).

* * *

Новые городские ансамбли оцениваются весьма противоречиво – то с преувеличенной восторженностью, то жестко и сурово.

Не ссылаясь на источники, вспомним, что, по мнению апологетов, крупные городские ансамбли представляются уже сейчас как «лучезарные города», являющиеся предвестниками будущего общества потребления и досуга, где труд станет автоматическим, где машины полностью заменят людей, где техническое будет естественно подчиняться человеческому.

Для других новые городские ансамбли, напротив, являются симптомом того, что технико-бюрократическое общество начинает создавать свою среду. Оно пространственно воплощает фундаментальный принцип отчуждения и принуждения. Новые городские ансамбли предвещают концентрационную организацию повседневной жизни. Новый город (скажем, первый приходящий на ум город – Бразилиа) оказывается инструментом и

микрокосмом бюрократического «Weltanschauung» (мировоззрения) с его интеграционной техникой (которая, впрочем, терпит неудачу, вызывает молодежные бунты, сохраняет разделение людей, сводит их активное участие в общественной жизни к простому просмотру телевизионных спектаклей, кино и т. д.).

Более разумно ограничиться здесь определением научного и практического смысла разделения людей и функций, существующего в городских ансамблях. Их можно сравнить с анатомическими картами и гистологическими срезами, где время – созидатель и разрушитель – остановилось, но продолжает существовать нечто, независимое от жизни и времени. Познание социальной (городской) реальности представляет интерес, аналогичный тому, который представляют эти карты и срезы для научной биологии и медицины. Перед нами, застывшее, искаленное, мертвое, но зафиксированное и проанализированное, а потому и доступное познанию нечто, что было жизнью городов, великолепной и неуловимой в ее бесконечной сложности. Нам предстоит расшифровывать эти карты и срезы, а не плакаться по поводу потери того, что наша мысль рассекла и расчленила.

Может быть, подвергая сравнительному исследованию городские ансамбли (сравнивая их друг с другом и со старыми городами), можно описать наличные функции, классифицировать их, иерархизировать, стремясь достичь окольным путем того, что исчезло в настоящее время, а именно – жизненной спонтанности? Вполне возможно. Мы выделим тем самым *унифункциональные объекты* (например, какое-нибудь помещение, которое используется только раз), *мультифункциональные объекты* (например, кафе, ларьки, рынки в качестве мест встречи и ячеек коллективной жизни, мест торговли и обмена услугами) и, наконец, *трансфункциональные объекты* (например, памятники, которые несут определенные функции и, кроме того, имеют символический, эстетический, культурный, и даже космический характер, несводимый к функциональности).

Таким образом, анализ действенно осуществляемых функций в новых городских ансамблях, их описание и классификация должны последовательно воссоздать связи и взаимодействия, иначе говоря, мало-помалу воссоздать живой организм. Не без трудностей, ощупью, посредством исправляемых ошибок, мы последовательно приближаемся к цели. Новые города можно рассматривать как социологические лаборатории не только в смысле фактов, но и в том, что касается создания и воссоздания жизни.

Такая же терпеливая работа над синтезом позволила бы, согласно этой гипотезе, найти точные различия между терминами, которые аналитическая мысль имеет склонность смешивать, чтобы сгладить собственные крайности. Например, между понятиями *форма*, *структура*, *функция*. Известно, что нынешний функционализм их смешивает в своих нередко поспешных разработках, притом подчиняя их одному единственному термину, трактуемому односторонне и, можно сказать, преувеличенно, термину – *функция*.

Создание мультифункциональных или даже трансфункциональных сооружений стоит, таким образом, в порядке дня обновленного урбанизма. Это тезис, который конкретизирован в скромном, но реалистическом проекте бистро-клуба, созданном и представленном благодаря усилиям Синдиката архитекторов Сены – С.А.С. Каким бы скромным он ни был, этот проект мог бы стать вехой в современном урбанизме. В самом деле, он ставит новый метод на место старого метода мысли и деятельности. Он заменяет аналитическую мысль мыслью, которая использует ее достижения и результаты, но является более синтетической, сложной и гибкой. Чтобы уточнить это утверждение, скажем, что эта замена находит аналогию в современной организации труда и производства, когда парцеллярное разделение труда, доведенное до крайних пределов, которое дробит производственный процесс, заменяется производством в форме *непрерывного потока*. Такой процесс производства, каким он выступает на самых современных промышленных предприятиях (например, в Лаке, где он сочетается с новым городом – Мурен), почти полностью, если не целиком, автоматизирован. Вот почему научная мысль должна рассматривать его и управлять им в его целостности, как единым процессом – от сырья к готовой продукции. Здесь возникает крупное автономное целое; как это ни парадоксально, промышленное производство

восстанавливает тут, поднимая на более высокий уровень, некоторые характерные черты первоначального производственного процесса, утраченные на пути его развития – единство, целостность, внутреннюю связанность, которые были свойственны сельскому хозяйству и ремесленному производству. Будучи автономным творческим целым, оно создает из природных материалов продукт высокой обработки. Вооруженная новейшими средствами техническая мысль в промышленности получает новое направление и смысл – более синтетические, более сложные, ставя при этом новые проблемы. По нашему мнению, в этом заключается очень важное указание, обозначение нового периода, поворотного пункта в эффективной мысли. Короче говоря, мы призываем архитекторов и урбанистов, в свою очередь, повернуть в этом направлении и учесть требования нового периода. Разрыв между концепцией нового города и концепцией производственной целостности в Лак-Мурене поистине поразителен. Может быть, дело здесь в кредитах? Несомненно, но не только в кредитах...

Эта аналогия может служить руководящей нитью для размышления. Для умов, жаждущих эффективности, она покажется более конкретной, чем предшествующие соображения. На деле же речь идет об одной и той же идее, сформулированной двумя несколькими различными способами.

* * *

Негативное и деструктивное воздействие новых городских ансамблей нужно изучать социологически самым тщательным образом. Что исчезло? Какая часть социабельности и социальной спонтанности утрачена?

Социологическое наблюдение быстро обнаруживает глубину этого негативного воздействия. Былые отношения, которые восходили к источникам человеческой социабельности, кровные и соседские связи, которые в течение стольких веков служили опорой и делали привлекательной общественную жизнь, пусть весьма двойственно и ограничено, но мощно, рушатся. И ничто их не заменяет. Эти аспекты рассматриваемых явлений легко выявляются посредством техники анкетирования, полезного, но элементарного и упрощающего, которое не идет дальше поверхности явлений. Достаточно точная и, несомненно, научная, эта техника не в состоянии выявить весь драматизм ситуации. Чтобы вскрыть его, необходим теоретический подход.

В новых городских ансамблях отсутствие спонтанной и органичной общественной жизни доходит до полной «приватизации» существования. Люди уходят в семейную, «приватную» жизнь. И такой уход наблюдался повсеместно в последние годы в высоко развитых индустриальных странах, там, где не ставились открыто и публично политические проблемы. Форма существования людей в крупных городских ансамблях доводит до предела общую тенденцию. К несчастью, из-за большого количества детей и демографической структуры, свойственной новым городским ансамблям, из-за звукопроницаемости стен и перекрытий, из-за шума, из-за неумеренного потребления контролируемых «масс-медиа» (особенно телевидения), играющих роль наркотиков, из семейной жизни исчезает интимность. Пропадает то, что в ней ищут. «Приватная» жизнь вязнет в промискуитете, исчезает в потоке шумов и поверхностной информации. Происходит драматическое превращение ее в «приватную жизнь» в самом крайнем смысле слова, иначе говоря, в состояние лишенности и фрустрации, которое терпят, подчиняясь своего рода общественному, человеческому оцепенению.

Опросные анкеты плохо отражают эту драматическую ситуацию. Техника анкетирования включает вопросы, ответы на которые «используются» так, как нужно. Люди плохо осознают положение, в котором находятся, без ясного осознания борются против него и в результате отрицают наличие такого положения. Это отрицание и непризнание являются частью защитных механизмов сознания.

Расхождение между анкетами более показательны, чем сами анкеты. Так, в Лак-Мурене во время анкетирования, проводившегося под официальным патронажем предприятий, созданных в этом комплексе, только 12% респондентов заявили, что хотят покинуть новый город. Когда же проводилось независимое анкетирование, 58% участников дали аналогичный ответ, полагая, что недостатки нового города более важны для них, чем преимущества (относительный комфорт жилищ и т. п.).

Перейдем к другому аспекту проблемы. Новые городские ансамбли погубили *улицу*. Это хорошо известно. Тем самым они выявляют ее значение. Если в современных городах улица более не является тем, чем она была в средневековых или античных городах, иначе говоря, не является основой социальности, но она и не стала, тем не менее, просто местом для пешеходов и уличного движения, просто промежутком между местом работы и жилищем. Она сохраняет собственную реальность, специфическую и самобытную жизнь. С другой стороны, современные проблемы автомобильного движения имеют тенденцию делать улицу преимущественно проездом. Однако они не должны скрывать ее социального значения и ценности. Улица вырывает людей из состояния изоляции и дефицита общения. Спонтанный театр, место игр без четких правил и тем более интересных, место встреч и многочисленных побуждений – материальных, культурных, духовных – улица оказывается необходимой.

Новый урбанизм должен восстановить значение улицы в целостности ее функций, а также в ее трансфункциональном, то есть эстетическом (как экспозицию различных обычных и необычных предметов) и *символическом* значении. То, что некоторые социологи называют *семантическим полем*, состоящим из символов, различных знаков и сигналов, должно быть восстановлено – лучше сознательно, чем стихийно. А ведь в новых городских ансамблях семантическое поле, рассматриваемое как совокупность значений, сводится к сигналам, определяющим условия и поведение. Даже здания принимают форму сигнала и являются, так сказать, суммой сигналов.

Восстановление семантического поля не может быть отделено от пересмотра проблемы *памятника*. Памятник, строение или какой-либо изолированный объект не могут сводиться к сигналу той или иной интенсивности. К тому, во что превращает их интегральный функционализм. Истинный памятник обладает неисчерпаемым значимым и символическим характером. Он не раскрывается сразу наподобие стимула того или иного обусловленного действия. У него множество *смыслов*.

Точно так же новые городские ансамбли пренебрегают, ухудшают или разрушают *игровой элемент*, присущий спонтанной общественной жизни. Их создатели не видели функций игры и в еще меньшей степени – ее трансфункциональной реальности и ценности. Когда они отдают себе отчет в этом и включают в свои проекты площадки для игр, они располагают в пространстве и времени игровой элемент. Тем самым, они обнаруживают, что игра возникает повсюду, спонтанно, естественно: на улице (витрины, к которым «липнут»), в обменных операциях (сравнение вещей, расчеты, выбор, трудность которого служит поводом для своего рода игры), в разговорах и т. п. Игровой элемент предполагает удивление, неожиданность, информацию. Он придает смысл улице, создает его.

Он кристаллизуется в собственно играх с соответствующими правилами (шахматы, карты и т.п.), которые проходят в специально отведенных местах, в частности, в бистро. Но в менее формальном и более глубоком смысле игра обладает своего рода жизненной вездесущностью, связанной с прирожденными проявлениями спонтанности и социальности. Это не что иное, как некое жизненное, поэтическое измерение.

Признав это измерение, приняв идею воссоздания на более высоком уровне спонтанной жизни, можно открыть путь творческому воображению. Функционализм, несмотря на свои достоинства, и гипертрофированный аналитический подход тормозили воображение. Мы знаем, что необходимо было пройти через это, Сегодня, оставляя позади этот период, чтобы пойти дальше, можно требовать реабилитации *утопизма*. Эта реабилитация происходит уже сама по себе. Достаточно увидеть интерес, с каким сегодня

читают произведения Леду, непосредственного предшественника Фурье. Оба, архитектор и социолог, создавали свою утопию на тему осуществления желаний по ту сторону функций и потребностей.

Утопическое воображение вводит революционный фермент в концепции, освобождающие от реализма, функционализма, формализма.

Именно так можно представить себе новый город, организационными ядрами которого были бы игровые площадки и залы, театры, кино и кафе, окруженные бульварами и парками, вокруг которых группировались бы жилые кварталы и места работы. Утопия? Безусловно.

Точно так же можно представить улицу, оживленную магазинами и лавками, сгруппированными на манер арабских рынков, под которыми идут машины, и над которыми возводятся здания подходящих форм.

* * *

Из всего сказанного вытекает, что когда предлагается множество решений проблемы урбанизма, желательнее предпочесть *переделку* старых городов (с помощью современных средств), используя основные направления уличного движения, функциональные здания, памятники. Это решение в настоящий момент представляется более предпочтительным, чем строительство отдельных самостоятельных ансамблей. Известно, к тому же, с какими трудностями сталкивается последнее, в частности в том, что касается стоимости земельных участков.

Существующие ансамбли могут быть улучшены. Можно, однако, задать вопрос, не требуется ли более радикальных мер для восстановления необходимых условий социальности. Не следует ли предусмотреть глубоких трансформаций повседневной жизни, бедой которой развертываются у нас на глазах, когда моральный порядок чисто механически добавляется к логическому, техническому и функциональному порядку, обычно принимаемому за основу?

Конечно, эти проблемы будут разрешены только, когда к ним приложат столько же усилий, денег, знаний и творческого гения, как к ядерным исследованиям или к исследованию космоса. И мы возвращаемся здесь к утопии, к мечте об ее осуществлении.

Изучение проблемы крупных городских ансамблей слишком хорошо показывает, как до сих пор делается выбор, основанный на принципе наименьшей стоимости человеческой жизни

Социология только начала изучение *социальных потребностей*. Это потребности, ощущаемые в качестве таковых большими группами людей, ответственность за которые в силу экономического и культурного развития берет на себя общество в целом. Примеры: социальное обеспечение, нужды старости и юношества и т. д.

До сих пор эти социальные потребности мало изучены. Известно только, что они не сводятся к биологическим и физиологическим потребностям (хотя их включают), к собственно экономическим потребностям, к совокупности индивидуальных потребностей. Они предполагают их удовлетворение, но охватывая их, добавляют к ним нечто специфическое. Социальные потребности – это потребности индивидов и групп, рассматриваемые с учетом уровня культуры и цивилизации, достигнутого обществом в целом с его специфическими чертами и самобытностью (в каждой стране).

Между социальными потребностями и другими формами потребностей существует постоянное взаимодействие и переходы. Например, сейчас уже немыслимо строительство жилищ без водопровода и центрального отопления. Существование предпринимателей, которые производят товары длительного пользования, приспособленные к нуждам строительства, делают маловероятными, если не невозможными, такие пробелы. То, что мы говорим о водопроводе или о ванной комнате можно распространить и на звукоизоляцию жилищ. Проблема в том, чтобы опережать, предвидеть, упорядочивать (планировать)

взаимосвязь таких вещей, вместо того чтобы оставлять все на самотек и позволять реальному положению опаздывать относительно потребностей.

Среди социальных потребностей мы можем упомянуть потребность в безопасности, потребность в непредвиденном, в информации и удивлении, игровую потребность, потребность в «приватной» интимности среди множющихся социальных контактов и отношений. Исследования могут обнаружить в сфере этих потребностей противоречия и конфликты, что будет непрерывно ставить все новые проблемы. Реалистический подход может и должен исходить из таких исследований и из этих проблем, находясь за пределами утопического воображения, которое нужно сохранять и беречь.

Перевод с французского С. А. Эфирова

Анри Лефевр

ПРОИЗВОДСТВО ПРОСТРАНСТВА¹

H. Lefebvre. La production de l'espace. P. 2000. pp. 35-40

1.12. *Пространство (социальное) есть продукт (социальный)*. Это утверждение кажется близким к тавтологии и, таким образом, почти очевидно. Однако, уместно рассмотреть его поближе, выявить его импликации и следствия, прежде чем его принять. Многие не согласятся с тем, что пространство в современном способе производства и в «действующем обществе», как таковом, имеет некую свойственную ей специфическую реальность, в том же смысле и в том же глобальном процессе, что и товар, деньги, капитал. Другие, столкнувшись с этим парадоксом, потребуют доказательств. Тем более, что пространство, как продукт, служит инструментом как мысли, так и действия, что оно, будучи средством производства, является одновременно средством контроля, а значит господства и власти, но при этом, как таковое, в определенной мере ускользает от тех, кто его использует. Социальные и политические (государственные) силы, которые его породили, стремятся подчинить его себе, но это им не удается; те же, кто подталкивает пространственную реальность к своего рода автономии, не поддающейся господству, пытаются ее исчерпать, зафиксировать, чтобы поработить. Является ли это пространство абстрактным? Да, но оно также «реально», как товар и деньги, эти конкретные абстракции. Является ли оно конкретным? Да, но не так как какой-либо объект или продукт. Инструментально ли оно? Конечно, но как познание, оно выходит за пределы инструментальности. Сводится ли оно к проекции – к «объективации» знания? Да и нет: знание, объективированное в продукте, не тождественно теоретическому познанию. Пространство содержит социальные отношения. Как? Почему? Какие?

Отсюда потребность в кропотливом анализе и пространном систематическом изложении. С использованием новых идей: прежде всего идеи разнообразия, множественности пространств, не означающих их фрагментацию, бесконечное деление. И это в процессе того, что называется «историей», и что отныне получает новое освещение.

Когда социальное пространство перестает смешиваться с ментальным пространством (определяемым философами и математиками) и с физическим пространством (определяемым чувственной практикой и восприятием «природы») оно обнаруживает свою специфику. Нужно показать, что социальное пространство не состоит из набора вещей, из суммы фактов (чувственных), не более чем из пустоты, заполненной, подобно таре, различными материалами, что оно не сводится к «форме», приданной явлениям, вещам, физической материальности. Предварительное утверждение (гипотеза) относительно социального характера пространства найдет свое подтверждение в процессе изложения.

1.13. Что же скрывает эту истину пространства (социального), заключающуюся в том, что оно есть продукт (социальный)? Двойная иллюзия, каждая сторона которой предполагает другую, подкрепляет другую, обосновывается ею: иллюзия прозрачности и иллюзия плотности («реалистическая» иллюзия).

а/ *Иллюзия прозрачности*. Пространство? Светлое, доступное разуму, оно открывает простор для действий. То, что происходит в пространстве поражает мысль - это воплощение ее замыслов (или *абрисов*, близость этих слов полно смысла – *dessein* и *dessin* – фр.). Замысел служит верным посредником между умственной деятельностью, которая творит, и

¹ © Центр фундаментальной социологии, 2002г.

социальной деятельностью, которая реализует, замысел разворачивается в пространстве. Иллюзия прозрачности совпадает с иллюзией чистоты пространства – без ловушек, без глубоких тайников. Замаскированное, скрытое и, следовательно, опасное несовместимы с прозрачностью, сразу схватываемой глазами разума, освещающего рассматриваемое. Полагают, что понимание без непреодолимых препятствий передает воспринимаемый им предмет - от темных его участков до ясных, превращает его из темного в ясный, пронизывая годобно лучу, либо осторожно трансформируя его. Тем самым, будто бы, почти совпадают социальное пространство и пространство ментальное, т.е. мысленное и речевое (топическое). Посредством какого перехода? Какой магии? Тайное, будто бы, легко расшифровывается после вмешательства слова, а затем и письма. Верят, что это происходит посредством простого перемещения и прояснения, исключительно посредством топических модификаций.

Почему же провозглашается равнозначность познанного и прозрачного в пространственном измерении? Это постулат распространенной идеологии (со времен классической философии). В этой идеологии, соединенной с западной «культурой», переоценивается слово, особенно письменный текст в ущерб социальной практике, которую она скрывает. Фетишизм речи, идеологи слова дополняется фетишизмом и идеологией текста. Для одних речь явно или имплицитно разворачивается в ясности коммуникации, выявляет скрытое, заставляет его обнаружиться или клеймит его. Для других слова недостаточно, необходимы дополнительный опыт и операции с письменным текстом. порождающим проклятие и сакрализацию. Считают, что акт письма, кроме своих непосредственных следствий, предполагает дисциплину, способную схватить «объект» посредством и для «субъекта», того, кто пишет и говорит. В обоих случаях слово и текст принимаются за практику (социальную); подразумевается, что абсурдное и неясное, идущие вместе, рассеиваются без исчезновения «объекта». Коммуникация передает объект несообщенного (несообщаемое не существует, иначе как постоянно искомый остаток) в сообщенное. Таковы постулаты этой идеологии, которая отождествляет познание, информацию, коммуникацию, предполагая прозрачность пространства. Так, что в течение довольно долгого периода можно было думать, что посредством коммуникации осуществляется революционная трансформация. «Все сказать!», «непрерываемое слово! Все написать! Письмо преобразует язык и, следовательно, общество... Письмо как значимая практика!». С этих пор революция и прозрачность тяготеют к отождествлению.

Иллюзия прозрачности проявляется как трансцендентальная иллюзия, если пользоваться старой философской терминологией: как приманка, обладающая почти магической силой - и одновременно отсылающая к другим приманкам, -своими алиби и масками.

в/ Реалистическая иллюзия. Это – иллюзия наивности и наивных, которую избличали философы, теоретики языка по разным поводам и под разными наименованиями – натурализм, субстантивизм. Согласно философам старой доброй идеалистической традиции, присущая обыденному сознанию простодушная иллюзия ведет к обманчивому убеждению, что «вещи» первичны по отношению к «субъекту», его мысли и желаниям. Отказ от этой иллюзии ведет к принятию концепции «чистой» мысли, Духа, Бога. Что вновь возвращает от реалистической иллюзии к иллюзии прозрачности.

Для лингвистов, семантиков, семиотиков их исходная и конечная наивность допускает «субстанциональную реальность» языка, несмотря на то, что он определяется формой. Язык представляется «мешком со словами»; наивные считают, что они найдут в мешке слово, соответствующее вещи, поскольку каждому «объекту» соответствует подходящее слово. В процессе всякого чтения воображаемое и символическое, пейзаж, горизонт, которые как бы окаймляют путь, проделанный читателем, иллюзорно принимаются за реальное, поскольку *истинные* характеристики текста, значимая форма и символическое содержание, ускользают от наивного сознания (следует заметить, что эти иллюзии приносят «наивным» удовольствие, развеваемое знанием, которое изгоняет

иллюзии! Наука заменяет чистые радости реальной или фиктивной естественности, утонченными, изощренными радостями, относительно которых отнюдь не доказано, что они превосходят первые).

Иллюзия пространственной субстанциональности, природности, плотности содержит собственную мифологию. Артист пространства действует в жесткой и плотной реальности, непосредственно исходящей от Матери Природы. Скульптор в большей мере, чем художник, архитектор более, чем музыкант или поэт работают над материалом, который сопротивляется и ускользает. Пространство, если это не пространство геометрии, обладает физическими свойствами и качествами земли.

Первая иллюзия, иллюзия прозрачности близка философскому идеализму, вторая – материализму (натуралистическому и механистическому). Однако эти иллюзии не сражаются подобно философским системам, как бы закованным в броню и стремящимся уничтожить друг друга. Каждая иллюзия содержит в себе другую и поддерживает ее. Переход от одной к другой, знаки близости, колебания так же существенны, как каждая иллюзия в отдельности. Символизм природы затемняет рациональную ясность, которая исторически возникла на Западе, проистекает из завоеванного господства над природой. Кажущаяся полупрозрачность, воспринятая темными историческими и политическими силами в период их упадка (государство, национальность), вновь обретает образы, идущие от земли и природы, от отцовства, от материнства, Рациональное превращается в природное, а природа вызывает ностальгию, вытесняющую разум.

1. 14. Теперь в соответствии с программой, чтобы предварить будущее изложение, можно перечислить некоторые импликации и следствия первоначального утверждения: *пространство (социальное) есть продукт (социальный)*.

Первая импликация: пространство-природа (физическое) отдаляется. Необратимо. Конечно, оно было и остается общим отправным пунктом, началом, первоначальным источником социального процесса, быть может, основой всякой «первоначальности». Конечно, нельзя сказать, что оно просто исчезает со сцены. Оно остается фоном картины, обрамлением и более чем обрамлением. Каждая деталь, каждый объект природы приобретают значение в качестве символа (самое малое животное, дерево, травинка и т.п.). Будучи истоком и ресурсом, природа неотступно преследует нас, как детство и спонтанность, через фильтр памяти. Кто не хочет ее защитить, спасти ее? Вновь обрести ее подлинность? Кто хочет ее разрушить? Никто. Однако каждый способствует наносимому ей ущербу. Пространство-природа отдаляется: это - горизонт на заднем плане для тех, кто оборачивается. Что такое Природа? Как ее снова уловить в первоначальном виде, до появления людей и их разрушительных орудий? Природа, этот могучий миф, превращается в фикцию, в негативную утопию: это – не что иное, как *исходный материал*, поле деятельности производительных сил различных обществ, создававших свое пространство. Неисчерпаемо глубокая, она, конечно, сопротивлялась, но была побеждена в ходе отступления и разрушения.

Перевод с французского С.А.Эфирова

РЕФЕРАТЫ

Наталья Фреик*

Петр Штомпка
Доверие: социологическая теория¹

Piotr Sztompka
Trust: a sociological theory. Cambridge: Cambridge university press, 1999. - 214 p.

Примерно с 90-х годов XX в. социологи стали рассматривать доверие в качестве ключевого элемента социальных отношений. Цель монографии П. Штомпки – разработать на основе понятийного и типологического анализа категории доверия объяснительную модель появления (разрушения) культуры доверия. Свой метод автор определяет как метод «контролируемого эклектизма» (р. X), подразумевая использование и приведение к единому знаменателю различных источников и теоретических направлений.

В первой главе монографии «*Обращение к "гибким" переменным в социологической теории*» Штомпка объясняет актуальность и причины активного обращения социологии к проблеме доверия. В первую очередь это связано с устойчивым парадигмальным сдвигом внутри самой социологической науки – от господства «социологии социальных систем» к «социологии действия». На онтологическом уровне это выражается в отказе от «жестких» представлений об обществе и обращении к «гибким» образам социальности; на эпистемологическом – в переходе от структуралистских объяснений, оперирующих «жесткими» переменными, к культуралистским – с акцентом на подвижных переменных. Второй парадигмальный сдвиг наблюдается уже внутри «социологии действия» – переход от «жестких», утилитаристских, инструментальных, позитивистских образов общества (бихевиоризм, теория обмена, игровая теория, теория рационального выбора) в сторону «гибких», гуманистических представлений о действии (символический интеракционизм, феноменология, герменевтика, исследования культуры). На онтологическом уровне изменяются представления о действии – сконцентрированность на рациональном действии уступает место учету более богатой гаммы действия, включая эмоциональные, традиционные, нормативные, культурные компоненты. В этом плане выделяются два исследовательских направления. Первое акцентирует психологические моменты (мотивацию, причины, намерения, установки) и ведет к психологической модели действия, второе – фокусируется на культурных компонентах (правилах, ценностях, нормах, символах) и приводит к культуралистской социологии действия. На эпистемологическом уровне парадигмальные изменения находят отражение в признании различных видов качественных, интерпретативных, герменевтических процедур как релевантных и эвристичных для интерпретации культурных аспектов действия.

Результатом этого двойного парадигмального сдвига стало преобладание среди актуальных социологических изысканий культурной проблематики, перенос акцента на культурную обусловленность действия. Предполагается, что действие одновременно и обусловлено культурой (аксиологическая, нормативная и когнитивная ориентации), и само служит детерминирующим фактором появления культуры. Другое закономерное достижение культуралистской перспективы состоит в обращении к миру «гибких» межличностных отношений, возобновлении интереса к моральным связям. Штомпка уточняет, что моральное, духовное сообщество представляет собой особую форму отношения к людям,

* Фреик Наталья Викторовна – младший научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Института социологии РАН

¹ © Центр фундаментальной социологии, 2002г.

© Фреик Н.В., 2002г.

которых мы определяем как «нас» (*us*). При этом действуют три вида моральных обязательств: доверие – ожидание добродетельного поведения со стороны других по отношению к нам; верность – стремление не злоупотреблять возложенным на нас доверием и выполнять возложенные на нас обязанности как принятие чьего-либо доверия; солидарность – забота об интересах других людей и готовность действовать во имя других, даже если это противоречит нашим интересам.

Культуралистская ориентация глубоко укоренена в социологической теории. Штомпка выделяет пять наиболее устойчивых дискуссионных тем:

1. Тема «одиноким толпы» (прослеживаемая от Ф. Тённиса к Д. Рисмену), в которой акцентируются атрофия духовных общностей, изоляция, атомизация и индивидуализация социальной жизни;
2. Тема «железной клетки» (от М. Вебера к З. Бауману) – формализация, деперсонализация и инструментализация межличностных отношений, бюрократизация социальных организаций и реификации индивидов;
3. Тема аномии (от Э. Дюркгейма к Р. Мертону) – акцент на хаотической и антиномической природе аксиологических и правовых регуляций;
4. Тема отчуждения (от К. Маркса к М. Симену) – сосредоточенность на отчуждении индивида от экономических и политических организаций, что приводит к потере идентичности, чувства собственного достоинства и смысла жизни;
5. Тема «восстания масс» (начатая Х. Ортегой-и-Гассетом и продолженная Л.Виртом) с характерным для нее описанием негативных сторон урбанизации и развития массовой культуры.

В современной социологии, считает Штомпка, появились и новые исследовательские линии, в которых обращается внимание на духовные, моральные связи и «гибкие» аспекты культуры. Здесь интерес представляют шесть понятий: «гражданская культура» (Г. Алмонд и С. Верба); «гражданское общество»; «культурный капитал» (П. Бурдьё); «социальный капитал» (Р. Патнэм); теория «постматериалистских ценностей» (Р. Инглхарт); «цивилизационные способности» (*civilizational competence*) самого П. Штомпки.

Обращение к культурной сфере обусловлено необходимостью для социологии реагировать на новые процессы, происходящие в современном обществе. Это, во-первых, растущее осознание недостатков и неспособности некоторых институциональных каркасов, воспринимаемых ранее само собой разумеющимися: демократические политические режимы, государство всеобщего благоденствия, свободный рынок. Во-вторых, усиление убежденности в том, что одни и те же институты могут по-разному функционировать в различных обществах (несостоятельность западных моделей политических и экономических институтов в ряде стран Африки и Латинской Америки на фоне значительных успехов в Азии; контрастно различающиеся судьбы мигрантов и беженцев, прибывающих из различных стран). В-третьих, осознание значимости культуры (пренебрегаемой ранее) в международных отношениях. В-четвертых, осознание важной роли скрытых культурных факторов для процесса посткоммунистических изменений (препятствия, барьеры, помехи и откаты на пути к демократии и рынку).

По Штомпке, сегодняшний интерес к проблеме доверия, с одной стороны, является лишь частным случаем культуралистского разворота в социологической теории. С другой стороны, он выделяет и особые причины для такого интереса, а именно – ряд специфических характеристик общества модерна. 1). Современный мир зависит от все более целенаправленных человеческих усилий; все больше людей занимают активную позицию по отношению к будущему. 2). Растет взаимозависимость мира, необходимость сотрудничества, что, в свою очередь, увеличивает сферу непредсказуемости и неопределенности. 3). Социальная жизнь наполняется новыми и более масштабными угрозами и рисками человеческой деятельности: расширяются условия для катастрофических ошибок, опасных сопутствующих эффектов. 4). Современный мир предлагает невероятные возможности во всех проявлениях жизни. В итоге, наши решения и действия наших партнеров становятся все

менее предсказуемыми. 5). Огромные сегменты социального мира стали непрозрачными не только для обычных людей, но и для экспертов. 6). Растет анонимность тех лиц, от чьих действий зависит наше благосостояние и существование. 7). Увеличивается число «чужаков», непривычных людей в нашем окружении (миграции, туризм, путешествия).

Каждая из этих характеристик современности предполагает необходимость доверия. Если в распространенных ранее психологических подходах доверие воспринималось как личностная установка, то теперь оно чаще всего рассматривается в качестве характеристики межличностных отношений, как культурный ресурс, используемый индивидами в своих действиях. Доверие выступает ключевым компонентом каждого из шести выделенных Штомпкой понятий, симптоматичных для современной обеспокоенности культурой. Так, оно является важным аспектом политической культуры; гражданского общества; культурного и социального капитала; постматериалистических ценностей; цивилизационной компетентности.

В качестве «гигантов», на плечах которых Штомпка предпочитает «стоять» в своем исследовании проблемы доверия, названы Н. Луман, Б. Барбер, Ш. Айзенштадт и Л. Ронингер, Д. Гамбетта, Дж. Колеман, Р. Хардин, Э. Гидденс, У. Бек, С. Лэш, Ф. Фукуяма, А. Селигмен.

Далее автор приступает к системному анализу категории доверия (гл. «**Понятие доверия**»). По Штомпке, контекст доверия – человеческие действия, а не природные феномены. За отправную точку исследования взят темпоральный аспект действия, ориентация любого действия в будущее. Доверие появляется в случае неопределенности и неконтролируемости будущего. Иными словами, нам необходимо доверие, если у нас нет полного контроля над будущими событиями, которые зависят от действий человеческих существ («человеческий фактор»). Для социального мира характерна значительная степень неопределенности и неконтролируемости как эпистемологического характера (отсутствие знаний о Другом, его принципиальная «инаковость»), так и онтологического плана (недетерминированность, «свобода» человеческих действий).

Штомпка выделяет три типа ориентации в отношении человеческой непредсказуемости. Для первых двух (надежда/разочарование, вера/сомнение) характерны пассивность, созерцательность, дистанцированность, стремление избежать каких-либо обязательств. Третья ориентация – доверие – проявляется в ситуациях, когда мы все же действуем, несмотря на неопределенность и риск. Так Штомпка приходит к наиболее общему определению: «доверие есть ставка в отношении будущих непредвиденных действий других» (р. 25). Исходя из этого, доверие предполагает два основных компонента: особые ожидания (как поведет себя Другой в некой будущей ситуации); и убежденность, уверенность в действии (ставка). Например, я верю (доверяю), что эта девушка станет хорошей матерью, поэтому я женюсь на ней (я ставлю на нее). Подобным образом можно, доверяя, «ставить» на политика, компанию, фирму, институт и т.п. Понятие «недоверие» (*distrust*) представляет собой зеркальное отражение доверия. Это тоже ставка, но негативная: негативные ожидания относительно действий других (вредные, дурные, невыгодные по отношению ко мне) и негативная, защитная уверенность. Термин «безверие» (*mistrust*) Штомпка предлагает использовать для нейтральных ситуаций, когда воздерживаются как от доверия, так и от недоверия. Безверие представляет собой временную, промежуточную фазу процесса построения/нарушения доверия, когда потеряно былое доверие или рассеялось былое недоверие.

Штомпка выделяет три разновидности убежденности (уверенности) в отношении действия Другого. Первый тип он называет «ожидаемым» (*anticipatory*) доверием. Здесь индивид рассчитывает на то, что другие, просто делая то, что они обычно делают (или сделают в определенной ситуации или роли), совершат действия, благоприятные его потребностям и интересам. Иными словами, индивид действует на основе знания о способностях других. Второй тип – «ответственное» (*responsive*) доверие. Это случаи, когда ценный для нас объект (ребенок, престарелые родители, деньги и т.п.) передается в чужие

руки под особый контроль и ожидается проявление к нему ответственного отношения (так, банку недостаточно быть просто надежным, он не должен растратить мои деньги). Третий тип убежденности появляется тогда, когда мы намеренно доверяем Другому, чтобы вызвать его доверие. Такое «напоминающее» (*evocative*) доверие характерно для близких, интимных отношений, среди членов семьи, друзей и т.д. Все три типа убежденности могут присутствовать в одном акте проявления доверия, поскольку их разделение носит аналитический характер. В свою очередь, степень проявляемой убежденности, по Штомпке, зависит от шести типов обстоятельств: серьезность последствий от действия, принимаемого на основе веры; ожидаемая продолжительность отношений; возможность изменить решение; степень риска; наличие гарантий или других дополнительных соглашений на случай неоправдания доверия; ценность для нас объекта (в случае его доверия другим людям).

Категория доверия самым непосредственным образом связана с категорией риска. Доверять, значит, действовать так, как если бы риска не было, «поставить риск в скобки». В итоге, оказание доверия сопряжено с риском, с массой неблагоприятных последствий: риск, что другие поступят не так, как я ожидал, вне зависимости от моего доверия (учитель школы, в которую я отправляю своего ребенка, будет хорошим или плохим вне зависимости от моего доверия данной школе); риск, связанный с самим актом доверия: негативный психологический «осадок», если кто-то не оправдал нашего доверия; риски, связанные с действиями людей, которым я доверился и которые знают и принимают мое доверие (измена любимого, друга и т.п.); риски в ситуациях, когда мы доверяем кому-либо заботиться о ценном для нас объекте.

Риски могут быть разумные и неразумные – в зависимости от степени риска (вероятность выиграть или проиграть) и ставки (ценность того, что может быть потеряно или приобретено). Данные критерии Штомпка использует применительно к четырем выделенным типам риска. Последние также выделяются аналитически, реальная жизнь предлагает массу противоречивых ситуаций. Например, высока вероятность проиграть, но в то же время и ставка высока, иначе говоря, разумнее доверять, несмотря на риск. Важен и субъективный момент – оценка степени риска и индивидуальная склонность к риску.

Различные типы рисков (включая те, которые связаны с доверием) – универсальная и вечная характеристика человеческого общества. Однако, по Штомпке, в современном мире «профиль риска» (Э. Гидденс) и объективно, и субъективно выражен сильнее, чем когда либо ранее. Среди объективных факторов названы универсализация риска, глобализация риска, институционализация риска (появление организаций, «играющих» на риске – спорт, страхование, рынки инвестиций и т.п.) и интроспективность риска (появление и интенсификация риска как непреднамеренных побочных результатов человеческих действий и «эффектов бумеранга»). Факторы, которые делают риск субъективно более ощутимым, следующие: большая чувствительность к угрозам и опасностям (исчезновение магических и религиозных оправданий и рационализаций); большая осведомленность об угрозах (увеличение образовательного уровня); большее признание ограниченности компетентности и многочисленные сбои в работе «абстрактных систем» (Э. Гидденс) – тех комплексных, огромных, безличных технологических образований, чьи принципы работы непрозрачны обычным людям, но от чьей надежности зависит их повседневная жизнь (транспорт, телекоммуникации, финансовые рынки, ядерные производства и т.п.). В итоге, теоретики позднего модерна предлагают говорить об «обществе риска» (У. Бек), в котором неизвестные и непреднамеренные последствия деятельности становятся главной движущей силой истории и общества. Социальная обеспокоенность проблемой риска имеет отношение к возросшей значимости доверия как средства нейтрализации риска и противодействия неопределенности. Доверие становится «способом примириться со сложностью будущего, порожденного технологией» (Н. Луман).

В третьей главе Штомпка анализирует «разновидности доверия». Доверяя, мы «ставим» на разные объекты. Первичные «мишени» доверия выстраиваются подобно концентрическим кругам (Ф. Фукуяма говорит о «радиусах доверия») от максимально

близких межличностных отношений к более абстрактным ориентациям применительно к социальным объектам. Это *личное* доверие к индивидам, с которыми мы вступаем в прямые контакты, включая «виртуальное» личностное доверие (к знаменитостям, «звездам»); *категориальное* доверие (пол, раса, возраст, религия, благосостояние); *позиционное* – доверие/недоверие определенным социальным ролям (мать, доктор, друг – налоговый инспектор, шпион, продавец подержанных машин); *групповое* (футбольная команда для фанатов, студенческая группа для профессора.); *институциональное* (школа, университет, церковь, банк), включая «процедурное» доверие институциональным практикам и процедурам как вера в то, что следование им принесет наилучшие результаты (доверие науке, демократии, свободному рынку); *коммерческое* (продукция определенного рода, страны-производителя, фирмы, автора и т.п.); *системное* (к социальным системам, порядкам и режимам). Заметим, что в любом из этих случаев в конечном итоге доверие выражается по отношению к индивидам и их действиям (продуктам деятельности).

«Вторичные объекты доверия» становятся таковыми в процессе оказания и оправдания доверия по отношению к первичным объектам. Большая часть того, что мы знаем (или думаем, что знаем), основана на вере различным инстанциям и вере в то, что мы слышали или читали. Соответственно, здесь доверие основано не на непосредственной информации об объекте, а на доверии другим индивидам и их высказываниям (экспертам, надежным источникам, мудрецам, соответствующим инстанциям). Нередко наше доверие, замечает Штомпка, складывается из доверия нескольким опосредованным вторичным объектам, которые выстраиваются в «пирамиды доверия» (р. 47).

Случаи безусловного доверия достаточно редки. Чаще всего оно относительно и зависит от характеристик доверяющих (индивидуальных, гендерных, социальных и пр.). Различным объектам, ролям и институтам соответствуют различные ожидания, нормативные правила (уместнее, например, рассчитывать на помощь и сочувствие матери или друга, а не конкурента по бизнесу или уличного прохожего).

Говоря об онтологическом статусе доверия, Штомпка предлагает три измерения доверия. 1). Как характеристика *отношений* (односторонних или взаимных). Этот уровень доверия разрабатывается главным образом в теориях рационального выбора. Основная предпосылка таких теорий следующая: и доверяющий, и тот, кому доверяют, воспринимают друг друга как рациональных деятелей, стремящихся максимизировать «прибыль» и минимизировать потери на основе рационального просчитывания имеющейся информации. Главная проблема доверяющего (и доверителя, поскольку эти роли всегда переплетены) – отсутствие достаточной информации по всем релевантным аспектам ситуации, а следовательно, наличие неопределенности и риска. Более сложные системы доверия появляются в ситуации *сотрудничества* (кооперации), когда в ходе совместных, коллективных действий люди стремятся к некоей общей цели, которая не может быть достигнута индивидуально. Доверие служит предварительным условием и результатом успешного сотрудничества и означает набор ставок на каждого из партнеров, на группу в целом и на сам организационный режим координации, наблюдения и лидерства, который гарантирует сотрудничество. 2). Как *личностная черта*. На этом уровне доверие рассматривается преимущественно с социально-психологической перспективы. Речь идет о «базовом доверии», «импульсе доверия», «фундаментальной доверчивости». Игнорирование «личностного» измерения доверия снижает объяснительные способности теории рационального выбора, нивелируя богатство и многогранность человеческой личности и поведения, в частности их эмоциональность и иррациональность. 3). *Культурный аспект*. Решение доверять или не доверять принимается с учетом культурного контекста, норм, сдерживающих или поощряющих проявление доверия. Одни социальные роли относятся к доверяющим и требуют оказывать доверие (доктор, социальный работник, священник и т.п.); другие – к тем, кому доверяют, и кто должен оправдывать оказываемое им доверие (спортивный судья, профессор университета и т.п.); ряд правил касается случаев доверия другим ценным объектам. Некоторые роли, наоборот, предполагают и требуют проявление

недоверия (охрана, полиция, таможня и т.п.). Существуют различия и между обществами с высоким и низким уровнем доверия.

В четвертой главе Штомпка обсуждает «*основания доверия*», которые рассматриваются с учетом трех выделенных уровней – реляционного, психологического и культурного. В первом случае оказание доверия базируется на оценке информации о том, в какой мере участники отношения заслуживают доверия (эпистемологическая основа). В то же время это психологическое качество, и корни доверчивости/подозрительности индивида следует искать в личном опыте, связанном с социализацией, предыдущими отношениями в семье и в различных группах. Здесь основу доверия составляет индивидуальная, биографическая генеалогия. Третий, культурный уровень, также подразумевает генеалогическую основу, но уже другого масштаба – коллективный, исторический опыт общества. Речь идет о культурах доверия как ценностно-нормативных системах, оказывающих независимое давление: или поощряя доверять другим и требуя быть заслуживающим доверия, или, наоборот, провоцируя недоверчивое отношение к другим. В культурах доверия преобладающие опыты аккумулируются и кодифицируются в правила. Если преобладает позитивный опыт, то для различных сфер социальной жизни доверие с большой вероятностью становится характерным правилом, складывается культура доверия. И наоборот, в случае распространения негативного опыта формируется культура недоверия.

Штомпка подробно анализирует упомянутые основания, которые, помимо прочего, накладываются и на дихотомию «первичные и вторичные объекты доверия». В качестве примера остановимся на эпистемологической основе, связанной с оценкой «рейтинга доверия» (в какой мере тот или иной объект заслуживает доверия) и соотносимой с «первичным доверием». Чтобы принять решение – доверять или нет – индивид активно ищет информацию относительно имманентных свойствверяемого объекта (первичное свойство вызывать доверие) и контекста, в котором находитсяверяемый объект (производное свойство). В свою очередь, первичное свойство объектов вызывать доверие оценивается на основе трех моментов: репутации, впечатления (*performance*) и внешнего вида (*appearance*). Репутация складывается из информации о прошлом индивида или социального объекта. Особенно важна информация о надежном поведении объекта, об имевшихся случаях оправдания/неоправдания доверия, а также о реакции на оказанное доверие (взаимность). Принципиальное значение имеет постоянство поведения. Частично подобное знание мы получаем непосредственно, но чаще всего из «вторых рук»: чье-либо мнение, косвенные показатели (CV, биографии, список публикаций), серия предыдущих достижений, членство в эксклюзивных группах с жестким отбором, наличие релевантных дипломов, профессиональных лицензий, знание о том, что какому-либо объекту доверяют другие (пример бестселлера). В итоге, репутация представляет собой некий способ инвестирования в самого себя; ресурс, позволяющий получать от других иные ценности, среди которых – их доверие и все, что из этого следует. Показатель «впечатление» относится к актуальному, настоящему, текущему поведению и получаемым результатам (экзамены в школах и университетах, тесты и проверки при приеме на работу, тестирования продукции, оценка деятельности правительства по уровню безработицы и инфляции). По сравнению с репутацией, это менее надежный показатель, его экстраполяция в будущее – более рискованная. Третья составляющая при оценке индивидов и социальных объектов – их наружность, внешняя сторона, включая и то, что они имеют (например, машина, дом, район проживания и т.п.). Социальные объекты оцениваются через внешний вид своих представителей (работников), зданий, помещений (стеклянные конструкции автосалонов, монументальные правительственные здания и пр.). Получению знаний о потенциальных объектах доверия способствуют близость отношений и их прозрачность; ясность критерия, непротиворечивая сравнительная шкала оценки достижения (ср. первенство в спорте и в науке или поэзии); компетентность. При этом Штомпка обращает внимание, что все три показателя «первичного свойства вызывать доверия» подвержены манипуляциям и искажениям.

К числу контекстуальных критериев, вызывающих «производное доверие», Штомпка относит, во-первых, подотчетностьверяемого, в частности, наличие структур, которые по меньшей мере потенциально способны на контроль и наказание в случае нарушения доверия. Во-вторых, предварительные обязательства: ситуации, когда люди сознательно и добровольно ставят себя в более жесткие условия, например, венчаются в церкви, подтверждая серьезность своих намерений. В то же время наличие такой опции изменяет уровень доверия для всех браков: к супругу, не желающему пойти на такой шаг, относятся с подозрением. В-третьих, ситуации, вынуждающие к оказанию доверия и заслуживающему доверия поведению. Здесь имеется в виду «священный» характер окружения, в котором протекают отношения (человек с меньшей вероятностью будет обворован в церкви, чем в метро; на чистых улицах сорят меньше, чем на грязных). Кроме того, доверие быстрее складывается в узких, малых сообществах.

В пятой главе «**Функции доверия**» Штомпка сосредотачивает внимание на последствиях доверия для функционирования социальной жизни, задаваясь вопросами о том, «всегда ли доверие – это хорошо, а недоверие – плохо?», и вообще «хорошо или плохо для чего?». По Штомпке, любые высказывания о функциях или дисфункциях доверия необходимо подвергать двойной релятивизации: эпистемологической (хорошо доверять честным людям, но в той же ли степени хорошо доверять лжецам?) и этической – доверие может быть выгодно для всего общества или только для некоторых групп, но невыгодно другим (хорошо доверять другим гражданам, но должно ли восхваляться доверие в криминальной среде?).

Штомпка предлагает дифференцировать функции проявления и получения оказываемого доверия; персональные функции применительно к участникам отношения и социальные функции применительно к более широкому обществу, в которых протекают данные отношения; а также различать персональные функции, значимые дляверяющего и для того, кому оказано доверие.

Штомпка обосновывает тезис о том, что доверие в целом выполняет положительную функцию дляверяющего, для того, кому доверяют, для их отношений, для группы, организаций и более широких сообществ. Оно освобождает и мобилизует человеческое действие; поощряет творческий, инновационный, предпринимательский активизм к другим людям; снижает неопределенность и риск, связанные с человеческими действиями, и в итоге, «возможности действия возрастают пропорционально возрастанию доверия» (Луман). Диаметрально противоположные выводы сделаны в отношении недоверия.

В результате Штомпка приходит к следующим заключениям:

- Доверять заслуживающим доверия и не доверять не заслуживающим доверия – функционально.
- Доверять не заслуживающим доверия и не доверять заслуживающим доверия – дисфункционально.
- В некоторых случаях априорное и необоснованное выражение доверия функционально («неспособность проявить доверие ограничивает шансы завоевать доверие»).

Чем более комплексными становятся сети отношений индивидов, тем более возрастает потребность в доверии и важность самого доверия. Автор предлагает аналитическую схему четырех возможных систем доверия. 1. Преобладание установки на подтверждаемое, ответное или обоюдное доверие ведет к культуре доверия. 2. Слепое, наивное доверие может временно способствовать культуре доверия, но она будет односторонней (держаться только на доверии со стороныверяемых) и с появлением все новых случаев неоправдания доверия разрушится. 3. Оправданное недоверие продуцирует культуру недоверия и раскручивающуюся спираль углубления цинизма и подозрительности. 4. Чрезмерное недоверие может временно потребовать нормативной санкции. При этом «спираль недоверия» может смениться восстановлением культуры доверия: постоянные и перманентные проявления заслуживающего доверия поведения могут подорвать необоснованное недоверие.

Что касается этической релятивизации функций доверия, то встает вопрос – что именно или кого брать за основу при оценке позитивности, функциональности доверия? Штомпка полагает, что такой основой должна быть функциональность для всей системы. Правда, и в этом случае не избежать идеологического критерия, ценностного выбора – какие именно характеристики общества пригодны в качестве оценки функциональности? Автор делает свой выбор в пользу приоритетности для мирных, гармоничных и целостных обществ (и наоборот, противодействие сражающимся, конфликтным или разобщенным). Это берется как точка отсчета при оценке некой мета-функциональности доверия, достоинств и недостатков по отношению к такому желаемому состоянию общества.

Чисто логически возможны два варианта: совпадение или несовпадение между внутренней функциональностью доверия (для партнеров и составляющих их групп) и внешней (для большого общества, с предпочтением к сохранению мирных, гармоничных условий и целостности). Дальнейшее следование логике функционального подхода закономерно привело к предположению, что в случае отсутствия доверия этот вакуум с необходимостью заполняется альтернативными структурами, выполняя сходные функции и отвечая универсальным человеческим потребностям в определенности, предсказуемости, порядке и пр., которые предоставляет доверие. Такие альтернативные, адаптационные практики формируются на трех уровнях: индивидуальном, практики и стратегии типичного поведения, а также в форме культурных правил, предписывающих определенное поведение. Однако проблема, по Штомпке, состоит в том, что часть этих практик, стратегий и институтов становится дисфункциональной для общества в целом. Автор выделяет шесть адаптационных реакций, защитных механизмов в ответ на разрушение доверия в обществе.

1. Провиденциализм, который имеет некий положительный эффект для граждан, но на социальном уровне оказывает разрушительное действие, вызывая пассивность и стагнацию.
2. Коррупция, обеспечивающая ложное чувство упорядоченности и предсказуемости, ощущение контроля над хаосом окружающего мира, стимуляции действий других в нужном направлении (взятки лицам, принимающим решения, подарки врачам, учителям).
3. Чрезмерное усиление бдительности, когда индивид замыкает на себя выполнение функций контролирующих инстанций, поскольку их компетентность и ответственность ставятся им под сомнение (отсюда – частная охрана, оружие в личном пользовании, установка охранных систем и сигнализаций на автомашинах).
4. Чрезмерное сутяжничество, суть которого проявляется в стремлении максимально формально зафиксировать отношения в целях безопасности.
5. «Геттоизация»: возведение непроницаемых границ вокруг «своей» группы в чуждом и угрожающем окружении. Отрезая себя от внешнего мира, люди делают его менее сложным и неопределенным. Недоверие обществу в целом компенсируется преданностью местным, этническим или семейным группам, что нередко сопровождается ксенофобией и враждебностью по отношению к чужакам.
6. Патернализация: мечты о фигуре Отца, сильного авторитарного лидера, который железной рукой наведет порядок, очистит мир от всех неблагонадежных лиц, организаций, институтов и восстановит (если необходимо – силой) порядок и предсказуемость. Подобная потребность удовлетворяется и через другие институты – распространение культов, сект.
7. Экстернализация доверия. Испытывая недоверие к местным политикам, институтам, продукции и т.д., люди начинают доверять лидерам иностранных государств, их организациям и товарам, расценивают экономическую помощь из-за рубежа, помощь МВФ, членство в НАТО или Европейском Союзе как панацею от всех «наших» бед.

В шестой главе *«Культуры доверия»* Штомпка сводит воедино все свои теоретические изыскания и анализирует социальные условия, способствующие появлению культур доверия. Этот процесс рассматривается им как частный случай более общих процессов «социального

становления» (термин, введенный Штомпкой ранее). При этом автор строит свое обсуждение на основе четырех допущений модели «социального становления». 1. Движущей силой социальных процессов является человеческая деятельность (*human agency*), т.е. индивидуальные и коллективные действия, решения и выборы акторов в рамках существующих структурных возможностей. 2. Текущие события, формирующие социальную практику, – это всегда результат апробации существующих структурных возможностей волящими и компетентными акторами. 3. Сам структурный контекст и предлагаемые им возможности формируются и переформируются текущим праксисом; представляя собой аккумулированные, длительные результаты (часто непреднамеренные) множества ранее совершенных действий. 4. Структурные эффекты прошлых практик, кристаллизованных в виде традиции, становятся первоначальными условиями для будущих практик и разрабатываются как структурные ресурсы. Этот цикл совершается бесконечно, что делает все процессы непредвиденными и неокончательными.

Таким образом, для появления культуры доверия должны быть как *структурные возможности*, поощряющие доверие, так и *агентурные ресурсы* – готовность и желание воспользоваться этими возможностями. Штомпка называет пять макросоциетальных обстоятельств, которые благоприятствуют появлению «культуры доверия» (повышение шансов оправдать доверие), и пять противоположных им обстоятельств, которые производят «культуру недоверия»: нормативная согласованность/нормативный хаос (аномия); стабильность социального порядка/радикальные изменения; прозрачность социальной организации/секретность; ощущение понятности окружающего мира²/ощущение неизведанности; подотчетность других людей и институтов /произвол и безответственность.

Вторая необходимая составляющая, благоприятствующая появлению культуры доверия, – определенные характеристики действующих агентов. К числу таковых Штомпка относит, во-первых, наличие определенного «личностного синдрома», коррелирующего с доверчивостью. Помимо обсуждаемого ранее «импульса доверия», речь идет о ряде личностных черт, косвенно связанных с готовностью к доверию/недоверию. Это активизм/пассивность; оптимизм/пессимизм; ориентированность в будущее/традиционалистская ориентация или ориентация «сегодняшнего дня»; большие/малые амбиции; достиженческая/адаптационная ориентация; инновационность/конформизм. Распространение в обществе индивидов с тем или иным синдромом на макро-социетальном уровне принимает форму социальных настроений. Во-вторых, для появления культуры доверия необходим типовой уровень персонального и коллективного капитала, ресурсов. Наиболее релевантными являются богатство, хорошая стабильная работа, многообразие социальных ролей, власть, образование, «связи», крепкая семья, религиозные верования.

Объединив все вышеназванные факторы, показатели и аксиоматические посылки, Штомпка предлагает гипотетическую модель появления культуры доверия, визуализация которой представлена в виде диаграммы (р. 133).

Предложенная объяснительная модель предоставляет соответствующие возможности для практического применения. Иначе говоря, для восстановления или построения культуры доверия необходимо сконцентрироваться вокруг переменных, эффективно воздействующих на создание доверия. С одной стороны, это соответствующие структурные изменения (р. 134-136), в результате которых трансформированные институты должны изменить образ жизни членов общества (доверие продуцирует доверие). Параллельно предполагается воздействие на агентов, обучение доверию через просвещение, семью, школу, формирование традиций, увязывание доверия с другими моральными ресурсами (в частности, религией), общественные дискуссии (акцент на СМИ), повседневные практики (р. 137-138).

В седьмой главе «*Доверие при демократии и автократии*» обсуждается роль доверия при двух противоположных формах политической системы – демократии и автократии.

² Под окружающим миром Штомпка понимает непосредственный «жизненный мир», природный, технологический и цивилизационный, в котором действуют люди.

Согласно Штомпке, доверие служит необходимой предпосылкой политического порядка и в то же время само является результатом политического порядка определенного характера. Обсуждая роль доверия применительно к демократии, автор исходит из следующих посылок:

- Культура доверия с большей вероятностью появляется при демократической системе правления.
- Доверие порождается демократией и поддерживает демократию.
- Доверие к самой демократии обусловлено критериями создания «производного доверия», как подотчетность и предварительные обязательства.

На основе данных посылок Штомпка формулирует два основных парадокса демократии. Суть первого заключается в том, что доверие к демократии основано на институционализации недоверия в ее структуру (подотчетность и предварительные обязательства). Штомпка выделяет десять основных принципов демократии – легитимность; периодичность выборов и ограничение срока занятия должности; разделение властей; власть закона и независимость судей; конституционализм и правовая экспертиза; должное ведение дел (*due process*); гражданские права; принуждение соблюдения законов; открытое обсуждение; принципы общественно-политической деятельности – и отмечает, что в каждый из данных принципов институционализировано недоверие. Другими словами, демократия обеспечивает своим гражданам безопасность против потенциальных нарушений доверия. Помимо этого, основные принципы демократии напрямую соотносятся с условиями, благоприятствующими появлению культуры доверия. В итоге, при демократическом режиме вырабатывается некий вид мета-доверия: доверие к демократии становится ультимативной страховкой других типов доверия, стимулирует готовность к ним граждан. Однако чем более институционализируется недоверие, тем более спонтанным становится доверие. Закономерен вывод, что нарушения и нападки на демократические принципы представляют серьезную опасность для подрыва культуры доверия. Соответственно, типичные неудачи демократии сводятся к возможным нарушениям десяти предложенных фундаментальных принципов демократии.

Второй парадокс демократии состоит в том, что институционализированное недоверие должно оставаться «в тени». Иначе говоря, обширные потенциальные возможности и способы повсеместного контроля, присущие демократии, должны быть задействованы только при очень ограниченной актуализации, в редких и необыденных случаях. Доверие нельзя обеспечивать исключительно за счет эффективного контроля. Гиперактивность корректив и контроля свидетельствует: что-то не так в самой системе. И это становится сигналом гражданам к проявлению недоверчивости, что может привести к нарушению культуры доверия.

В зависимости от способа функционирования демократических корректирующих механизмов, возможны две альтернативные самопродуцируемые тенденции. Если преобладает «культура недоверия», аппарат контроля, принуждения и предписаний всегда находится в состоянии мобилизации. Складывается некий порочный круг. Гиперактивность аппарата сигнализирует гражданам, что им не доверяют, и это еще более углубляет и укрепляет «культуру недоверия». Если же превалирует «культура доверия», то аппарат контроля, принуждения и предписаний задействуется только периодически. Наведение порядка демонстрирует гражданам, что первоначальное доверие восстановлено, нарушения доверия редки, и это укрепляет «культуру доверия».

Успешное функционирование демократии предполагает: коммуникации между гражданами; толерантность; замену конфликта и борьбу компромиссом и консенсусом; определенный уровень цивилизованности в ходе общественных диспутов; активное участие людей в жизни общества; образованность граждан. Во всех этих случаях велика роль доверия.

В авторитарных системах (деспотии, диктатуры, тоталитарные системы), наоборот, выражено стремление непосредственно, напрямую институционализировать доверие и превратить его в строго санкционированное формальное требование. От граждан требуется

тотальная и безусловная поддержка двух возможных объектов доверия. Во-первых, это может быть правитель – монарх, диктатор, лидер, харизматик. Здесь доверие принимает персонализированную и патерналистскую форму. Следует безусловно и беспрекословно доверять правителю не за то, что он делает, а за то, кто он есть, подобно доверию отцу. Во-вторых, в качестве такого объекта доверия может выступать сама система власти (феодалная монархия, социализм, диктатура пролетариата и т. п.), ее принципы считаются необсуждаемыми и рассматриваются как истины в последней инстанции.

Институционализация доверия в авторитарных системах осуществляется через двойной механизм. Это политическая социализация с закрытием доступа к информации извне и строгий политический контроль, сурово наказывающий во всех случаях неоправдания доверия. Принципы авторитарного режима прямо противоположны принципам демократии: все замыкается на государстве или правителе. Не случайно, для авторитарной политики свойственна произвольность, непредсказуемость, неопределенность. Если демократия продуцирует доверие, то авторитарные режимы, наоборот, – недоверие. В авторитариях не соблюдается принцип взаимности: проявлять и заслуживать доверия обязаны только подвластные по отношению к правителям. Последние относятся к подчиненным с подозрением, будучи убежденными в их виновности и непослушании. Соответственно, граждане находятся под постоянным контролем. В итоге, недоверие продуцирует взаимное недоверие. Чрезмерный контроль, надзор и принуждение порождают злобу и цинизм, подрывают доверие властям. Таков парадокс авторитарии: институционализированное доверие продуцирует всепроникающее недоверие.

В заключительной главе *«Доверие и быстрые социальные изменения: исследование случая»* демонстрируются возможности использования теоретической модели доверия для объяснения эмпирической реальности, исторических событий. Период стремительных социальных изменений, полагает Штомпка, позволяет наглядно изучать процессы появления и разрушения «культуры доверия». Автор предлагает проанализировать процессы крушения коммунизма, текущие трансформации в Восточной Европе, а именно – в Польше, судьба которой для польского социолога, естественно, ближе, понятнее и актуальнее.

Говоря о культуре «коммунистического периода» в целом, Штомпка предлагает воспользоваться понятием «культуры блока» (*bloc culture*), которое уже обсуждалось им в других работах³. Одним из компонентов и следствием этого типа культуры является широко распространенная эрозия доверия. Для культуры блока характерен культурный код, организующий мысли и действия вокруг оппозиции двух жизненных сфер – частной и общественной (официальной), противопоставление которых строится по принципу дюркгеймовой оппозиции «священного» и «светского». Частная (партикуляристская) сфера представлена как область хорошего, а общественная (универсалистская) – как область негативного. Признавая универсализм в качестве отличительной черты демократического дискурса, Штомпка постулирует сущностно антидемократический дискурс социалистических обществ. Для культуры блока характерен двойной стандарт истины – официальный и частный: общее недоверие всему, что связано с государством и его институтами, и наивная вера в любую информацию, идущую из частных источников и извне системы. Граждане апатичны, пассивны и подозрительны, власти воспринимаются ими чуждыми и враждебными. Недоверие присуще всему социальному порядку.

На основе богатой эмпирической базы, анализа исторических фактов и документов, статистических и социологических данных (включая собственные исследования) Штомпка выделяет несколько стадий в истории Польши (начиная со второй половины 70-х годов XXв. вплоть до времени публикации монографии), каждая из которых характеризуется определенным уровнем доверия в обществе. Используя выделенные ранее показатели, позволяющие прямо или косвенно оценить уровень доверия, Штомпка прослеживает флуктуации доверия в польском обществе на протяжении выделенного периода. Для первых

³ См., напр., Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996; Sztompka P. Society in action: the theory of social becoming. Cambridge: Polity Press, 1991.

стадий характерно глубокое разочарование и недоверие в публичной сфере (коммунистической партии, режиму, правящей элите) на фоне высокого уровня доверия в частной сфере, что находит отражение в данных общенациональных опросов, типичных установках, общественных настроениях. Дефицит доверия, неуверенность в будущем подтверждаются широким распространением защитных механизмов, выделенных ранее: коррупция, недоверие социальному порядку и общественной безопасности, упования на иностранную помощь, стремление поместить себя в «гетто» близких отношений, патернализация и пр. Глубоко укорененная «культура блока» создавала препятствия и трудности при проведении демократических реформ: сохранялось недоверие социальному порядку, что выражалось в иммиграции, отказе от участия в общественной жизни, социальных протестах и т.п., постоянно воспроизводилась коренная для коммунистической культуры оппозиция: все официальное по-прежнему вызывало недоверие (например, государственная система образования и здравоохранения на фоне активного распространения частных школ, клиник и т.п.).

Относительный подъем уровня доверия сменился напряженным периодом после проведения реформ, когда энтузиастические надежды не оправдались и накопилось множество проблем. Эта стадия, шестая по счету в системе Штомпки, характеризуется им как «постреволюционное недоумогание». Штомпка фиксирует полнейший кризис доверия в социальной системе, недоверие всем институтам, правительству, политикам, СМИ, реформам в целом, межличностным отношениям и пр. С середины 90-х годов он фиксирует в польском обществе устойчивую тенденцию к «демократической консолидации и восстановлению доверия». Постепенное искоренение фундаментального недоверия, считает автор, связано с совместным действием следующих факторов: наличие обстоятельств, подтверждающих уверенность в том, что изменения непрерывны, постоянны и необратимы; значительный экономический рост; новое качество и уровень жизни; консолидация политической демократии и конституционализма: принятие новой конституции, успешная смена власти через выборные процедуры, практическая верификация демократических институтов; становление рынка и частной собственности; реальная перспектива вступления в западные военные, политические и экономические альянсы; расширение личного и социального капитала и рост «ресурсности», по крайней мере у ряда значительных страт общества (при этом успешно прижились и традиционные ресурсы, в частности, наличие связей, поддержка семьи и принадлежность к религиозной общине); смена поколений: появление новых поколений, выросших в других условиях.

РЕФЕРАТЫ

Горбунова Е.М.¹

Саймон Лок

Социология и общественное восприятие науки: от рационализации к риторике.

Simon Locke²

Sociology and the public understanding of science: from rationalization to rhetoric // The British Journal of Sociology. Vol. 52. No. 1. March 2001. pp. 1 - 18.

Тема работы Саймона Лока – пересмотр социологических теорий современности, начатый в рамках социологии научного знания. Основная проблема состоит в том, что теории современности продолжают разделять те предположения о сущности и природе науки, которые опровергают социологи научного знания. При этом упомянутые теории включают в предмет своего изучения не только те или иные конкретные гипотезы о том, что же представляет собой наука, но и то, как ее воспринимает общественное мнение.

«Социологи обычно оценивали отношение общества к науке как «рационализованное», используя это понятие в качестве основы для дальнейшего теоретизирования по поводу видимых социальных изменений и тех процессов, которые, по их словам, оказывают влияние на современное общество. В рамках такого подхода наука рассматривается как универсальная целостность, выражение чисто технического знания, свободного от индивидуальных оценок или влияния групповых интересов. Этот образ преобладает в современном обществе, поскольку ментальность обычного человека сама есть продукт процесса рационализации, в котором наука является и продуктом, и производителем» (р. 2). Однако усиление общественного скептицизма по отношению к науке заставляет усомниться в справедливости и обоснованности подобного взгляда.

Обе стратегии, предложенные для решения этой проблемы, – теории постмодернизма и теории общества риска – также исходят из присущей индивиду рационализованности. Саймон Лок придерживается противоположной точки зрения: он считает, что отношение общества к науке всегда характеризуется некоторой амбивалентностью, наличием дилеммы, конфликта между универсалистскими претензиями науки и сущностью научного знания как результата работы конкретных людей в определенном месте и в определенное время.

Вебер: рационализация как принцип

По мнению Макса Вебера, форма универсально значимого знания может возникнуть благодаря рационализации. Он утверждает, что люди в современном (ему) обществе мыслят, в определенном смысле, научно, иначе говоря, смотрят на мир с определенной когнитивной перспективы – материальной и рациональной, достигая этого с помощью технической калькуляции. Социология, по Веберу, может быть универсальной, поскольку включает в себя – идеально-типически и асимптотически – такую характеристику действия, которая в той или иной степени присутствует во всех формах социального действия, а именно целерациональность. Более того, эта характеристика становится доминирующей вследствие исторического процесса рационализации, происходящего в базовых сферах общества – экономической, административной, эстетической и когнитивной. При этом параллельно, как

¹ Горбунова Екатерина Михайловна, аспирантка Государственного университета гуманитарных наук при Институте социологии РАН.

² Simon Locke. School of Social Science, Kingston University.

© Центр фундаментальной социологии, 2002 г.

© Горбунова Е., 2002 г.

следствие, уменьшается влияние других аспектов человеческого существования: по словам Хабермаса, «коммуникативное» стремительно «колонируется» «техническим». «Наука как одно из воплощений технического образа действия начинает доминировать, будучи отражением общих процессов, и может претендовать на универсальную валидность на том основании, что социальные действия конкретных ученых, их характер и способы поведения стремительно приближаются к идеально-типической форме технического поведения в сфере производства знания» (р. 4).

С этими рассуждениями связана и категория «расколдовывания» (disenchantment). Вебер разрешает дилемму науки риторическим конструированием «современного разума», который предполагает процедуру «расколдовывания» (несмотря на то, что у «современного разума» могут быть абсолютно различные эмпирические референты). Другими словами, Вебер пытается склонить социальных ученых к нормативному обязательству на основании описания; они должны вести себя, исходя из того, каковы вещи есть на самом деле. Для придания своим выводам большей убедительности и для легитимации морально-оценочных суждений Вебер использует прием обобщения. «Представляя это просто как описание того, какова социальная реальность на самом деле, Вебер вовлекает нас в “упражнение” по риторическому творчеству: как *сделать (создать)* таким образом социальную реальность» (р. 5).

Пусть будет рационализация

С ростом общественного сомнения в возможностях науки, естественно, предпринимались попытки объяснить этот феномен. Было предложено два варианта: 1) критика науки рассматривается как реакция против рационализации; 2) такая критика является «продуктом» рационализации, своего рода следствием второго уровня – «рационализацией в квадрате» [rationalization squared]. Первая позиция находит свое отражение в рамках непрекращающихся споров между представителями науки и религии; вторую обычно связывают с концепциями инвайронментализма и риска. Сторонники первой позиции рассматривают модернизацию как длительный и продолжающийся процесс; сторонники второй придерживаются идеи исторической непоследовательности (discontinuity).

Первая точка зрения наиболее полно раскрыта в работах теоретиков Франкфуртской школы, придающих понятию рационализации большое значение. Понятие «обычного человека» в капиталистическом обществе – основная проблема и единственное решение для марксизма. С одной стороны, обычный человек является жертвой (обмана) капиталистической идеологии, с другой – он олицетворяет надежду на новое общество, поскольку его сознание формируется в процессе борьбы с властью капитала. Рационализация позволяет решить эту дилемму, так как не отрицает у обычного человека способности мыслить. В то же время процессы формирования сознания анализируются как отражение материальных форм организованного производства; сознание, таким образом, предстает как укорененное в определенном типе социальной организации.

По мнению Хабермаса, в современном обществе мы можем наблюдать двойственный процесс: хотя когнитивная рационализация и способствовала обесцениванию так называемых традиционных убеждений, систематическая логика современности не в состоянии обеспечить им альтернативу, поскольку наука оказалась оторванной от публичной сферы.³ Как следствие, средства критики, предъявляемой науке, – требования валидности и ее проверка, достижение консенсуса с помощью аргументации, становятся недоступными широкой публике, которая вынуждена держаться за устаревшие убеждения.

Исследования работ креационистов (creation scientists, creationists) (протестантских фундаменталистов, отвергающих теорию эволюции в пользу теории происхождения,

³ Habermas J. The Theory of Communicative Action. Vol. 2: Lifeworld and System, a Critique of Functionalist Reason. Cambridge: Polity, 1987.

описанной в Книге Бытия) показывают, что для достижения определенных религиозных интересов они используют такие же техники и стратегии аргументации, которые обычно приписывают ученым (например, применение пассивных (*passive voice*) грамматических конструкций для придания написанному или сказанному объективного характера). Именно такое свойство современности, как риторичность, разделяющее научное и социальное, делает возможным креационизм как течение.

«Рационализация в квадрате»

По мнению Саймона Лока, единственным исследованием особенностей общественного отношения к науке в эпоху постмодерна является работа С. Крука и др.⁴ Авторы подчеркивают «амбивалентность» восприятия обществом науки в зависимости от степени «близости» к этой сфере тех или иных социальных групп. Тем не менее, основная тема работы – рациональность. Как утверждают исследователи, в современном обществе, развитие систем научного и технологического (в позитивистском смысле) знания усиливает значимость последнего как основания для действия (деятельности). Эти системы вытесняют религиозное знание, способствуя «интеллектуализации» и «демистификации» мира.

Вслед за Вебером авторы рассматривают рационализацию как процесс дифференциации ценностных сфер, превращающийся далее в «гипердифференциацию», при которой все большая фрагментация и специализация наталкиваются на современные тенденции к организации мира, что приводит к состоянию «постмодернистской множественности» (*postmodernized multiplicity*). Для науки, в частности, это означает наличие противоположных процессов: с одной стороны – организация «Большой Науки», с другой – возрастающая специализация. Научная «гиперрационализация» все в большей степени вступает в конфликт с установленными социальными нормами и фундаментальными ценностями. Если принять тезис о том, что при этом рационализация ослабляет (и разрушает) этические принципы и замещает религию, то вопрос об источнике норм и ценностей становится проблематичным.

Еще один вопрос, который может быть задан: как описать двойственное общественное восприятие науки в рамках дискуссии о рациональности? По мнению Крука, такая «амбивалентность» является неотъемлемой характеристикой (любой) современности.

«В то время как постмодернисты ищут в амбивалентности доказательство конца модернизации, представители теории “общества риска” находят в ней начало, поскольку мы вступаем сейчас в период “рефлексивной модернизации”, вызванной <развитием> науки и технологии» (р. 9). Базовое понятие здесь – «рефлексивное онаучивание» (*reflexive scientization*), предложенное У. Бекком. «С одной стороны, наука и методический скептицизм институционализированы в индустриальном обществе. С другой, скептицизм органичен (в первую очередь) внешними факторами, объектами исследования, в то время как основания (принципы) и условия научной работы остаются защищены от возникающего извне скептицизма» [Beck U. *Risk Society: Towards a new modernity* / Trans. M. Ritter, London: Sage, 1992. p. 14].

Социология научного знания

Центральным пунктом как для социологов научного знания, так и для риториков от науки (*rhetoricians of science*) является анализ устных и письменных высказываний ученых. Социологи научного знания показали, что социологический дискурс с одной стороны выражает, а с другой – анализирует дилемму науки в современном мире. Социологическая теория рассматривала науку как нечто единое и носящее внесоциальный характер, то в рамках социологии научного знания подчеркивался плюралистический и социально-обусловленный характер науки. При этом ее множественность, возникающая из-за

⁴ Crook S., Pakulski J., and Waters M. *Postmodernization: Change in Advanced Society*. London, Sage, 1992.

контекстуальной обусловленности, является изначально коммуникативной: «с точки зрения рациональной парадигмы, наука – это внесоциальная целостность, использующая однообразный технический стиль; для социологии научного знания, это социально-обусловленная множественность, “говорящая” на <разных> языках» (р. 11).

Изложим вкратце некоторые моменты, определяющие характер науки в рамках социологии научного знания. Во-первых, это акцент на контексте. Именно здесь происходит разрыв с мертоновской социологией, где предполагалось существование определенного набора норм, отделяющих науку как одну из форм социальной жизни. Социология научного знания рассматривает эти нормы как «контекстуально зависимые переменные». Странники «сильной программы» (strong programme) Б. Блор и Д. Барнс также подчеркивают контекстуальную природу научного знания и объяснения: то, что будет считаться адекватным объяснением и будет принято в качестве такового, зависит от того, что считается «нормой» в данном социальном и культурном контексте. Следовательно, социальный смысл науки становится проблемой. По словам Барнса, «мы должны стремиться “открыть” ее [науку] как часть культуры, уже определенной самими акторами» [Barnes B. *Scientific Knowledge and Sociological Theory*. London: Routledge and Kegan Paul, 1974. p. 100].

К. Кнорр-Цетина представляет науку как своего рода хаотичное «сплетение» интуитивно подразумеваемого знания, неформальных процедур и случайных практик, с незначительной долей «технической чистоты», отражаемой в научных отчетах и представляемой путем рационализации⁵.

Вопрос заключается в том, как воспринимать этот «вычищенный технический образ» науки. Один вариант – рассматривать его как профессиональную идеологию, которая скрывает реальность, состоящую из обычных людей и их материальных интересов. Другой – неважно, является ли рациональный имидж науки идеологией или нет, в любом случае такой образ провоцирует нереалистично высокие ожидания от науки, неоправдание которых вызывает резкую «антинаучную» реакцию.

На самом деле интерпретировать технический научный дискурс как идеологию, как «чистую риторику», означает принимать эпистемологическую или онтологическую первичность влияния на научное знание так называемых «социальных факторов» и тем самым восстанавливать оппозицию наука – общество. Научный дискурс следует рассматривать в качестве одного из видов риторики, части тех ресурсов, которыми ученые могут распоряжаться для обоснования своей работы. Таким образом, технический научный аппарат правильно расценивать как стратегический ресурс для аргументации, один из ресурсов, доступных ученым.

Те же рассуждения справедливы и применительно к не-ученым. Х. Коллинз и Т. Пинч называют общественность жертвами (обмана) науки, целиком попавшими под влияние «божественного колдовства». Оно порождает сильную негативную реакцию, когда оказывается, что «волшебство» ученых не способно производить «блага» – возникает своего рода дихотомический образ науки, в котором наука является либо добром, либо злом.⁶

Следует также отметить, что ученые могут использовать два противоположных способа представления науки: (1) представление результатов в обезличенном, абстрактном, беспристрастном виде, претендуя при этом на их универсальную применимость, независимо от индивидуальных действий и мыслей; (2) подчеркивание персонализированного, ограниченного во времени и пространстве, ориентированного на агента действия характера научных выводов, когда результаты зависят от конкретных человеческих действий и мотивов.

⁵ Knorr-Cetina K.D. 'The ethnographic study of scientific work: Towards a constructivist interpretation of science' in K.D. Knorr-Cetina and M. Mulkay (eds.) *Science Observed: Perspectives On the Social Study of Science*. London: Sage, 1983.

⁶ Collins H.M. and Pinch T. *The Golem: What Everyone Should Know About Science*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

К риторике общественного восприятия науки

Дилемма науки, выраженная в дискурсе ученых, характеризует и ее восприятие в современном обществе. «Другими словами, вскрывают противоречия научных выводов, представляя их как конкретные продукты деятельности конкретных ученых, не только сами ученые. Такая возможность есть и у всех современников» (р. 14). Вот основные причины, позволяющие придти к такому заключению.

1. Исследования креационистов показывают, что так называемые «противники науки» в своих аргументационных целях используют те же дискурсивные средства, что и ученые.
2. В других исследованиях подчеркивается не только «амбивалентность» общественности, но и ее способность активно одобрять или отрицать научные выводы в зависимости от собственных интересов. Особенно значительным представляется важность «местного знания» как основания для отрицания науки и «прагматичное» использование научных достижений и авторитета ученых, соотносясь со специфическими локальными целями.
3. Научные результаты часто представляются таким образом, чтобы избежать возможного обвинения в преследовании своих личных интересов или интересов отдельных групп людей. Например, люди сомневаются в искренности служб охраны окружающей среды, поскольку полагают, что за их добрыми намерениями может стоять просто желание реализовать свои коммерческие интересы.
4. Утверждается, что просвещенческий проект, трактуемый как основная идеология современности, носит изначально противоречивый характер. Центральными являются противоречия между свободой и властью, между самовыражением и самоконтролем и т.д. «И если эти противоречия Просвещения проявляются в повседневной жизни, то почему же нельзя применить их и к науке как служанке просвещенческой веры? И если научный дискурс организован вокруг дилеммы между требованием универсальности знания и конкретностью <ситуации> его производства, то почему это не должно найти отражения во всем обществе, в форме противостояния риториков, выдвигающих аргументы для сопротивления техническому языку науки?» (р. 15).

Риторический подход, предложенный в данной работе, позволяет «ухватить» множественность и неоднозначность общественного восприятия науки. Здесь технический язык выступает в качестве одного из доступных членам современного общества ресурсов для представления и анализа научной информации. Различие, которое проводит Бек между «первичным» и «вторичным онаучиванием», предстает как различие между доступными риторическими ресурсами. Так, их изучение становится задачей социологов: каким образом и с помощью каких риторических средств члены общества отвечают на техническую риторику науки.

РЕФЕРАТЫ

Забаяев И.В.¹

**Т. Люк, Дж. О Туатейл
Осмысляя геополитическое пространство: пространственность войны, скорости
и зрения в работах П. Вирильо.**

**Luke, T., O Tuathail, G.
Thinking Geopolitical Space. The spatiality of War, Speed and Vision in the Work of
Paul Virilio. // Thinking Space / Ed. by M. Crang and N. Thrift, Routledge 2000. P. 360-379**

Вариант реконструкции основных направлений исследований французского мыслителя П. Вирильо, сделанный американскими учеными Дж. О Туатэйлом (география) и Т. Люком (политическая наука), представлен в их работе, которая входит в сборник «Осмысляя пространство», в статьях которого анализируются взгляды различных авторов на проблемы, связанные с пространством. Среди них, наряду с П. Вирильо, – У Бенджамин, Г. Зиммель, М. Бахтин, Л. Витгенштейн, Ж. Делез, Б. Латур, П. Бурдьё и другие.

Области, в которых работал Вирильо, многочисленны, его произведения часто эклектичны. Это не позволяет однозначно отнести творчество ученого к той или иной дисциплине, но, тем не менее, можно определить те сферы интеллектуальной деятельности, которыми он занимался начиная с 1970-х годов. Проблематика его работ может быть «схвачена» в терминах следующих двух треугольников. Первый соединяет в себе дисциплинарные и категорийные различия в принятом смысле (см. рис. 1), второй – ближе к понятиям и темам, которые выделил для себя сам Вирильо (рис. 2).

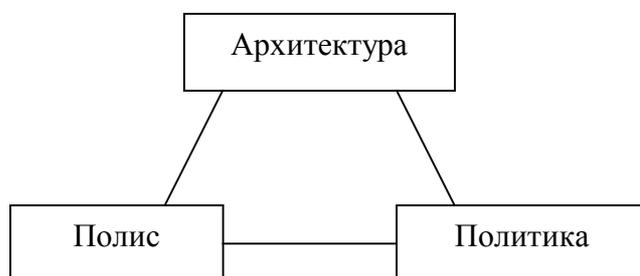


Рисунок 1. Военная сила/знание/технология

Первый треугольник отражает связи между способами профессионального самоопределения французского интеллектуала – архитектор, аналитик военной стратегии и человек, «интересующийся политикой». Как архитектор, Вирильо уделяет особое внимание природе городских форм. Именно рефлексия по поводу «городского» приводит его через понятие полиса к теме политики. Если урбанист – человек, изучающий polis, и политик – действующий внутри и по поводу полиса, – одно и то же, тогда размышление об урбанизме есть в то же время и размышление о политике. Далее этимология приводит Вирильо к рефлексиям по поводу организации войны (warfare) – примордиальной человеческой активности, которая и задавала форму людских поселений и возможностей города. Как он отмечает в своих работах, этимологически, урбанист – это тот, кто строит города, чтобы их защищать (иметь возможность их защитить) (Virilio 1983,86). Как и Л. Мамфорду, город

¹ Забаяев Иван Владимирович, аспирант Государственного Университета–Высшей Школы Экономики
© Центр фундаментальной социологии, 2002г.
© Забаяев И., 2002 г.

представляется Вирильо продуктом постоянного ведения войны, а урбанистика имеет одним из своих непосредственных приложений подготовку к этой войне (Mumford 1963; 70).



Рисунок 2. Объединяющая тема: человеко-машинные интерфейсы

Три вершины первого треугольника объединяет проблематика военной силы, знания и технологии, отталкиваясь от которой Вирильо переосмысливает наиболее сложные вопросы нашего времени, связанные с проблемами войны, скорости и зрения. Они сходятся вместе (на более глубоком уровне) в теме уменьшения человеческого контроля над машинами, которые оформляют, обуславливают и угрожают жизни людей в конце двадцатого столетия². Таковы элементы второго треугольника. Остановимся на этом подробнее, в частности, в рамках осмысления пространства геополитики (см. Luke, T., 'O Tuathail; 360-364).

Чистая и тотальная война: пространственность войны.

Следуя Вирильо, география есть не что иное, как продукт индустрии войны, поскольку пространство всегда воспринималось в качестве защитных барьеров и/или зон для наступательных операций. Война и подготовка к ней, собственно, и продуцируют пространство-время человеческого опыта.

Территориальная организация пространства в населенные пункты и геополитические союзы – с самых ранних деревень до средневековых городов и современных национальных государств до огромных империй – выражает различные порядки (orders) военной мощи, знания и технологической организации.

По Вирильо, существуют три порядка военного знания: тактика, стратегия и логистика. О тактике он говорит как об «искусстве охоты» в ранних человеческих цивилизациях. Эти цивилизации не знали войны в современном значении: конфликты не вызывали больших разрушений, были не долговременны и тщательно не подготавливались. Стратегию Вирильо связывает с появлением греческих городов-государств и впоследствии коммерческих городов-государств феодальной Европы. Пространство организуется при этом как театр военных действий, с городом-государством, жестко зафиксированным в центре. Этот центр укреплен и способен защитить себя и поддерживающую его существование военно-политическую систему. Тактика при появлении стратегии не исчезает, но подчиняется ей (Luke, T., 'O Tuathail; 365).

С XIX столетия как тактика, так и стратегия постепенно вытесняются на второй план логистикой – новым порядком военной силы/знания/технологии. Логистика, непосредственно связанная с современными механизированными военными экономиками, осваивает новые возможности, вызывающие огромные разрушения в ходе тотальной войны. Начиная с Хиросимы, логистика стала доминирующим порядком военного знания/мощи. Логистика, утверждает Вирильо, цитируя источник из Пентагона – это «процедура, следуя

² Тема противостояния человека и машины разрабатывается, конечно, не только Вирильо. Ею занимались Бодрийар, Делез, Деррида, Фуко, Гватари, Латур и другие.

которой потенциал нации преобразуется в силу ее армий как во время мира, так и во время войны» (Virilio 1983; 16). Логистика уничтожает различия между временем мира и временем войны; остается только постоянная подготовка к войне.

Как и многие ученые, Вирильо видит в государстве («O Tuathail and Luke; 365) военную машину. Государства – это организации-хищники, захватывающие и колонизирующие как пространство, так и население, организующие пространство в военную систему – сегментированную, расчерченную и укрепленную сообразно этой разметке территорию. Будучи военной машиной, государство осуществляет «абсолютный захват мировой истории» (Virilio 1990; 17).

Такой взгляд на государство выражается у Вирильо в понятиях «тотальная война» и «чистая война». Тотальная война возникла благодаря подъему логистики как определенного направления военных действий и была связана с развитием военно-морских сил в начале XX века. В новом порядке пространства-времени высоко ценились скорость и маневренность; именно они определяли победу на ровной плоскости моря и являлись аналогом крепости на суше. Применение британскими войсками на Сомме танка – подвижной крепости и наземного военного корабля – обозначило революцию в скорости и маневренности на земле.

Для цивилизации XX века поворот в сторону тотальной войны имел разнообразные и существенные последствия. Социальное колонизируется военным настолько, что различия между гражданским и военным почти исчезают. Быть гражданином означает иметь «право умереть» (Virilio 1990; 79), быть одной миллионной частицей огромной смерти. Тотальная война мгновенно отражается на «окружающей среде» и природе, ведь для победы необходимо разрушить природную экосистему, поддерживающую существование противника. Кроме того, тотальная война привносит новый абсолютизм в политику. Ее логистика мобилизует все население страны в едином порыве. Враг не может быть просто побежден – должна быть разрушена сама его идентичность, как целого и единого.

Индустрия войны получила новое развитие в конце Второй мировой войны. Ядерные и межконтинентальные ракеты обозначили новую эпоху глобального мирового противостояния и взаимного удержания. Вирильо относит эру глобального ядерного противостояния не к тотальной, а к чистой войне. «Удержание (устрашение) – это такое развитие вооруженных сил (оружия), которое обеспечивает всеобщий мир. Факт наличия все увеличивающегося в своей изощренности оружия все более удерживает врага. И суть войны уже не в исполнении, но в подготовке. Увековечивание войны – это то, что я называю Чистой Войной» (Virilio 1983; 92). Иными словами, следуя Вирильо, тотальная война – это война везде, чистая война – это война всегда.

Чистая война, постоянная подготовка к войне по обе стороны границ, состоящая в непрерывных перемещениях на своей территории и ее (территории) реорганизации. Чистая война – это не мир и не война, это постоянная борьба логистики, движений по своей территории, в ходе которых индустрия войны реорганизуется социальные и экономические отношения так, чтобы спасти мир (Luke 1989). Чистая война потому чистая, что она не нуждается ни в экономике, (через некоторое время, отдавая все маневрам, экономика входит в фазу стагнации), ни в политике (нет времени на споры, дипломатию, рефлексию и обдумывание – надо успеть раньше, чем успеет тот, кто против тебя), ни в людях. Новое оружие таково, что его «хватит на всех», и совершенно не требуются «все», чтобы помешать врагу – это все равно невозможно.

Скорость-тело: пространственность скорости

Из концепции чистой войны прямо проистекает вынужденный упадок геополитики, ее отступление на второй план перед политикой времени, хронополитикой. Вирильо связывает геополитику непосредственно со стратегической ценностью территории, тогда как хронополитика ассоциируется с ценностью времени, телеметричности. С увеличением значимости технологических систем, пространство теряет свою ценность, главное теперь – электроника. В противовес «геополитической экстенсивности» постоянно увеличивается

роль «трансполитической интенсивности», которая сильнейшим образом сказывается на упадке государства как территориального единства (Virilio 1991a, 92). Война в реальном времени вытеснила войну в реальном пространстве географических территорий и более уже не обуславливает историю людей и народов (Virilio 1994a, 206).

Если в пространстве основным объектом является тело, то во времени – скорость. В дромологических обществах (обществах скорости), где ценность «места» невелика, аналогом места, по Вирилью, являются скорость и ускорение. Война ведется за счет скоростей, с помощью скоростей, в ней участвуют скорости против скоростей. Стратегическая ценность без-местности времени оттеснила на второй план ценность места, пространства. В мире подвижного, гипермобильного уничтожения, в мире, удерживаемом машинами глобальной (гиперместной) ядерной войны, места исчезают.

Машины всеобщей ядерной войны, являясь (или обладая) гипермобильностью, надмобильностью, полностью обесценили значение «места». Силы ядерного оружия хватит на «везде», на весь человеческий мир. Обесценив пространство, эти машины с той же силой, но в противоположном направлении изменили значение времени.

Подобно тому, как тотальная война способствовала милитаристским побуждениям организации территории и частично реализовала их в ландшафтах крепостей и бункеров, чистая война навевает образы нового стратегического порядка и соответствующих ему ландшафтов. Пространство-время чистой войны – это такой стратегический порядок, при котором насилие скорости становится законом и судьбой мира и его вектором. Мы больше не населяем «статичность места», мы населяем пространство, изменяющееся во времени (Luke, T., 'O Tuathail; 369-370).

Геополитика не исчезает, но перестает быть центром, ядром военной машины, становится дромологической, подчиняющейся порядку скорости. Скорость-тело дромологических обществ (обществ скорости) реконституирует время/пространство структуриации и аккультурации обществ вокруг оси постоянного ускоряющегося движения. Обживание хронополитического ускорения более чем геополитического пространства – есть не освобождение от движения, но тирания скорости: «Слепота скорости средств ... разрушения – это не освобождение из геополитического рабства, но это истребление пространства как места (плоскости, поля) политической свободы... Чем больше увеличивается скорость, тем быстрее уменьшается свобода» (Virilio 1986; 142).

Виртуальные пространства и географии: пространственность зрения

Область, в которой соположение, сочетание войны и скорости должно быть зафиксировано, – это разведка. В ней визуальная риторика команды/контроля/коммуникации различает быстрые угрозы и медленные проблемы. Вирилью утверждает, что видео-машины, машины зрения –кинематограф, телевидение и спутники-разведчики часто размечают те пространства, которые впоследствии будут заняты, оккупированы войной и скоростью. Видео-машины картографируют мир (а картографируя, по сути – создают его в век эффектов (вместо реальности) и подобия), позволяя войне и скорости ориентироваться в нем. Сегодня, чтобы создать тоталитарное пространство, не нужно организовывать войну с моторизированной техникой и танками, достаточно обычной проникающей способности новых медиа, информационного блицкрига. ('O Tuathail and Luke; 372)

Большая часть из написанного Вирилью посвящена различным сюжетам, связанным с механизацией, автоматизацией и виртуализацией восприятия, особенно зрения. Одна из основных тем в рамках данной проблематики –«разделение зрения». Расщепление, разделение зрения (sights) может парадоксальным образом разделять места (sites), создавая эффекты реальности новых пространств вдаль, между, за, перед, вокруг тех, которые обычно сочетаются с базовыми географическими и социокультурными.

Механизация и компьютеризация средствами ускорения и виртуализации восприятия порождают свои собственные гиперхронические и гипертопические состояния (области), которые так же, как и ядерное сдерживание по отношению к войне, преобразуют

человеческую активность из «актуальной в виртуальную» (Virilio 1994b; 67). Реальная деятельность людей создает многие виртуальные порядки, готовые развернуться в каждой точке человеческой реальности. От этих синтетических иллюзий невозможно легко отделаться – они становятся и *выглядят* куда реальнее, чем реальность. Виртуальное, требуя реагировать на себя, становится реальным.

Медиа процветает на тематике войны не всех против всех, но войны всех против некоторых и некоторых против всех (Cumings 1992). Когда мир становится единым медиарынком, каким он является сейчас, видеокамеры обеспечивают обособленность миллионам индивидов, контркультура (постиндустриального, постнационального, постгородского) гетто распространяется теперь по всей планете, которая не может стряхнуть с себя статуса «гетто космоса» (Virilio 1995; 11). Опосредованные дромологиями быстрого капитализма жители гетто, «пойманные в ловушку внутреннего акта войны, нарушения прав человека» – участники «постоянно повторяемого, очаровывающего спектакля жертвоприношения и медленной смерти» (Virilio 1995, 11). Однократный террористический акт, ограбление магазина в определенном месте благодаря медиа происходят везде и длятся гораздо дольше, чем на «самом деле». Похожесть жертвы на «всех других» обеспечивает ощущение подверженности, однако отсутствие обратной связи оставляет бездеятельным и беспомощным.

Плотность дромологических систем приобретает свою собственную сущность, черты медиа пейзажей третьей природы (Wark 1994). При подобном положении дел совершенно новая виртуальная география нуждается в картографировании своих материальных инфраструктур. По Вирильо, отстроенная (окружающая) среда второй природы – города – не покрывают поверхность земного шара так обильно, как каналы (провода и линии) моторизации и медиатизации. Дромологическое существование – это делокализованная, мобилизованная и инструментализованная жизнь внутри гиперхронического потока и гипертопической области скорости. Тотальная достижимость (способность быть везде) медиа – электронных и машинных – представляется Вирильо переворотом в клаузевиццевском военном мышлении, потому что скорость-тело государства должна колонизировать изнутри (внутри) свою актуальную (наличествующую) территорию с помощью виртуальных средств контроля и измерения времени. И победа в этих внутренних войнах приходит в полностью медиатизированных формах, – «победа над врагом требует скорее не взятия в плен, а пленения³» (Virilio 1995; 14).

Осмысление геополитического пространства, по Вирильо, – это переосмысление современного геополитического взгляда, который уничтожается технаукой и технологиями машинных скоростей ('O' Tuathail 1997). Для этого французский мыслитель использует категории скорости и света. Осознавая, что категория скорости менее полезна для распространения и популяризации теории, нежели для ясного видения и постижения происходящего (Virilio 1994b; 71), он, тем не менее, достаточно сложно пишет о вещах, связанных с современной оптикой, и о соответствующей ей сенсорике. Так, он говорит далее, что разделение (фокуса) видения, позволяющее разделять действительную материальность и реальную виртуальность, оборачивает все из прожитого-воплощенного пространства-времени в неуловимые маневры или эффекты ловушек, вызывая необходимость изменения принципа упорядоченности (со-относительности) видения. ('O' Tuathail and Luke; 374). Речь идет в первую очередь о том, что ранее называлось визуальными машинами (современные оптические или радиоэлектрические приборы, «обеспечивающие видение за горизонтами/сквозь материю/назад во времени»), которые не позволяют наблюдать и однозначно соотносить друг с другом наблюдаемые объекты⁴. Например, что можно *увидеть* в радиотелескоп? Свет и звук, переплетаясь сложным

³ обольщения

⁴ При разделении зрения, наблюдение также по меньшей мере двоятся на собственно наблюдаемую реальность и на итог наблюдения – факт. Понятно, что эти два уровня наблюдения предшествуют осмыслению и концептуализации.

образом, посредством мощных приборов представляют человеку картину реальности, того, что эквивалентно чистому наблюдению, факту. Понятно, что при другой конструкции оптики картина может быть и иной.

Следовательно «временная частота света стала определяющим фактором в восприятии феноменов, оставив умирать пространственную частоту материи... Сегодня «экстенсивное» время, которое работало на углубление целостности бесконечно великого времени, дало дорогу «интенсивному» времени... эта относительная разница между ними реконструирует новое поколение реальности, выродившуюся реальность, в которой скорость господствует над временем и пространством, так же как свет уже доминирует над материей или энергия над безжизненностью» (Virilio, 1994b, 71-72). Построенные на основании определенного понимания природы света современные машины-наблюдатели повернули дело таким образом, что для реальности различные характеристики света стали гораздо важнее характеристик объекта. Но зрение как в реальности, так и в виртуальности, а особенно на их стыке, призвано сегодня работать не с образами, прямо зависящими от конструкции человеческого зрения.

Зрение человека должно быть вытеснено «видящей машиной», превосходящей его способности видеть наблюдаемое или ненаблюдаемое посредством «слепого» зрения, ощущающего невидимые образы энергий или цифровых эффектов. Такая активная машинная оптика «станет позднейшей и последней формой индустриализации: индустриализации невизирания» (Virilio 1994b; 73), так как машинные сенсоры создают объекты из наблюдаемой энергии. Создаются воображаемые пространства или образы предметов, чтобы представлять взгляды (sights) и места (sites).

В мирах, где фактичность конструируется оптикой и радиолектроникой, для большей различительности «...нужно оценивать световые сигналы объективной (воспринимаемой) реальности в терминах интенсивности, которая и есть «скорость», а не в терминах «света и темноты» (Virilio 1990; 74). Иными словами, двоичная различительность должна быть заменена другой, более дробной, в идеале многомерной и континуальной (не дискретной)

Реальности пространства и времени становятся для Вирильо, относительностями между освещенными или не освещенными, прозрачными световыми эффектами. Время коробится и пространство искажается, оставляя зоны для света, отрицающего неизменность размечаемой продолжительности. Фото-графия, или описание света, сейчас переписывает гео-графию - описание пространства. С того момента, как вопрос реальности станет вопросом пути светового интервала, а не вопросом объекта и пространственно-временных интервалов, новые формы световой энергии «помогут модифицировать само определение реального и образного» (Virilio 1994b, 74). Таким образом, «хронополитика», силы времени, понимаемые как эффекты скорости, подчиняют геополитику, силы пространства, понимаемые как пространственное расширение.

Подобные интерпретации машины зрения – с помощью понятий света, скорости, войны – граничат у Вирильо с фетишизмом. «В начале была вспышка» – говорит он. Однако важный вывод напрашивающийся после прочтения его работ Вирильо, состоит в том, что скорость определяет очень многое в человеческом зрении, рациональной рефлексии и нормальном сознании. Шок будущим – это, в основном, болезнь движения, происходящая из «быстроты образов и видов в зеркале путешествия, ветровом стекле, по телевизору и на экране компьютера, которая упрощает и искажает дромологическое видение мира» (Virilio 1991a; 86), ускоряющееся в сторону гипермодернизации (Luke, T., 'O Tuathail; 372-374).

Быть впереди, пред-видеть – вот основные требования современного мира. Сегодня организация самосбывающихся пророчеств – одна из главных задач хроноптометрических маневров – анализа рисков и теории игр.

Заключение

Итак, базовая понятийная сетка, разрабатывавшаяся Вирильо на протяжении заключительной четверти XX столетия, представлена в виде двух логик. Первая – логика

«тотальной войны». Это война везде, она ведется в первую очередь в пространстве и с течением времени захватывает все пространство. Основной объект в этой войне – объект пространства – тело. Интеллектуальная основа для освоения этого мира – география. Согласно второй логике, в определенный момент времени статичность и экстенсивность пространства была преодолена военными технологиями (например, изобретение танка). Как только это произошло, все большую роль начал играть фактор времени. Война стала вестись не в пространстве, а в его изменении во времени. «Чистая война» – это война, не имеющая границ во времени. Основной объект во времени – скорость. Она и стала объектом и средством ведения новой войны.

Необходимость ориентации во времени потребовала нового картографирования. И с помощью оптики и радиоэлектроники в каждой точке обычного пространства были порождены и картографируются многие другие пространства. Свет – это аналог материи в новой войне и мире, в новой онтологии. Война скоростей – это требование более мощной скорости и постоянного нахождения впереди, за «сегодня», в будущем. Интеллектуальные средства, способные обеспечить работу в этом режиме, будут востребованы, остальные – будут ждать другого общества.

Литература

1. Cumings, B. 1992. *War and Television*, London: Verso.
2. Luke T. 1989. 'What's Wrong with Deterrence?' A Semiotic Interpretation of National Security Policy, in J. Der Derian and M. Shapiro (eds). *Intertextual / International Relations: Postmodern and Poststructural Readings of World Politics*, Lexington, MA: Lexington Books.
3. Luke, T., 'O Tuathail, G. Thinking Geopolitical Space. The spatiality of War, Speed and Vision in the Work of Paul Virilio. // *Thinking Space* / Edited by M. Crang and N. Thrift, Routledge 2000, p. 360-379
4. Mumford, L. 1963. *Technics and Civilisation*, San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.
5. *Thinking Space* / Edited by M. Crang and N. Thrift, Routledge 2000
6. 'O Tuathail, G. 1997. At the end of geopolitics? Reflections on a plural problem-atic at the century's end. *Alternatives*, 22: 35-56.
7. Virilio, P. and Lotringer, S. 1983. *Pure War*, New York: Semiotexte.
8. Virilio, P. [1977] 1986. *Speed and Politics*, New York: Semiotext(e).
9. Virilio, P. 1989. *War and Cinema: The Logistics of Perception*, London: Verso.
10. Virilio, P. [1978] 1990. *Popular Defense and Ecological Struggles*, New York: Semiotext(e).
11. Virilio, P. [1980] 1991a. *The Aesthetics of Disappearance*, New York: Semiotext(e).
12. Virilio, P. [1984] 1991b. *The Lost Dimension*, New York: Semiotext(e).
13. Virilio, P. [1976] 1993. *L'Insecurite au Terroire*, Paris: Galilee.
14. Virilio, P. [1975, 1991, 1994] 1994a. *Bunker Archeology*, New York: Princeton Architectural Press.
15. Virilio, P. [1988] 1994b. *The Vision Machine*, Bloomington: Indiana University Press.
16. Virilio, P. [1993] 1995. *The Art of the Motor*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
17. Virilio, P. [1995] 1997. *Open Sky*, London: Verso.
18. Wark, M. 1994. *Virtual Geography*, Bloomington: Indiana University Press.

РЕЦЕНЗИИ

*Фомина В.Н.**

Ален Турен. Возвращение человека действующего. Очерк социологии / Пер. с французского Е.А.Самарской. Ред. пер. М.Н. Грецкий. М.: Научный мир, 1998.

В последнее время среди книжных новинок появилось немало переводов работ известных западных социологов, дающих возможность познакомиться с их концепциями самым широким слоям общественности. Отметим прекрасные переводы работ Т.Парсонса, И.Гофмана, П.Сорокина и ряд других. Однако по мере утоления литературного голода все чаще встает вопрос о качестве переводов научных текстов. Хотя появившиеся в постсоветское время различные научные фонды активно стимулируют переводческую деятельность, однако, к сожалению, слабо ее контролируют. Как следствие мы имеем целый ряд книг с посредственным и даже некачественным переводом. Многие люди, вроде бы неплохо знающие язык, с легкостью взялись за сложные научные тексты, считая, что для этого вполне достаточно просто хорошего владения иностранным языком. Однако перевод – художественной ли, научной ли литературы – дело непростое. Ведь речь идет не столько о передаче стиля, специфики языка автора (что, может быть, особенно важно для художественной литературы и чем, казалось бы, при переводе литературы научной можно было бы, во имя просветительских целей, пренебречь), сколько об адекватной, понятной, научно выверенной передаче содержания сложного научного произведения. Основная и главная ошибка – незнание исследуемого автором предмета и принятой терминологии. Переводчик тонет в материале, дословно переводя слово за словом, фразу за фразой и не улавливая смысла излагаемого. Отсюда логические ошибки и противоречивые утверждения, часто встречающиеся в текстах.

Другим серьезным недостатком некоторых переводных работ является, как ни странно, плохое владение русским языком. Чрезмерное и неоправданное засилье иностранных слов, слепое калькирование терминов вместо поисков их русских эквивалентов делают перевод трудночитаемым.

К числу подобного рода работам, к нашему великому сожалению, придется отнести и перевод книги известного французского социолога Алена Турена «Le retour de l'acteur» (Paris, 1984). Как известно, Ален Турен – один из ведущих французских социологов, автор множества книг, посвященных актуальным проблемам современности, ученый поразительной интуиции, чьи работы всегда находятся на пике востребованности. И хотя он пользуется на Западе большой популярностью, в России его научные идеи не были столь же широко известны. В отечественной социологической литературе можно найти лишь несколько работ с анализом его концепций. Выход перевода «Возвращение человека действующего» следует считать необходимым и своевременным.

Впрочем, в творчестве Турена эта книга не является знаковой, скорее она повторяет и развивает его представления о роли социологии в современном мире. Ученый пытается создать свою собственную концепцию социологии, в основе которой лежит понятие социального действия. Основные понятия этой концепции, названной им акционизмом, были изложены им еще 20 лет назад в «Sociologie de l'action» и «Production de la société». Но за эти двадцать лет политическая картина мира приобрела иные очертания, развитые общества вступили в новую фазу развития – постиндустриальную. На сцене социальной жизни появились новые действующие лица (актеры) – новые социальные движения. Их роли в

* Фомина Валентина Ниловна – старший научный сотрудник сектора истории и общесоциологической теории Института социологии РАН.

развитии современного общества, способам познания происходящих изменений и посвящено «Возвращение человека действующего».

Турен предлагает новый образ общества, основанный на понятиях историчности и социального движения. Современное общество для него – это в первую очередь общество развития, действия, обладающее способностью производить и воспроизводить себя и свою окружающую среду. В «Предисловии» автор указывает, что его понятие актора или субъекта действия работает на всех уровнях социальной реальности, хотя для него исключительно важным является именно социетальный уровень, где основным действующим субъектом становится социальное движение. Отметим, что Турен в своих работах всегда подчеркивал, что в качестве субъекта действия он имеет дело не с конкретным человеком, индивидом. Субъект социального действия для него это некое абстрактное понятие деятеля, исходный пункт, позволяющий ему строить всю социологическую конструкцию. Он прямо говорит об этом в своей работе «Sociologie de l'action», за что в свое время был подвергнут жесткой критике со стороны своих французских коллег и даже был обвинен в идеализме. Таким образом, уже перевод самого названия книги как «Возвращение человека действующего» уже есть серьезная ошибка, извращающая позицию ученого. Термин «актор» (acteur – по-французски) – один из самых распространенных в социологии. Переводят его по-разному: как действующее лицо, деятель и т.д. Общепринятым стало переводить его и просто как «актор», но во всех случаях он обозначает лишь субъекта действия, каковым в концепции Турена является не только и не столько человек.

Следовало бы также прояснить позицию переводчика и относительно понятий «социальное движение» – «общественное движение» и «социальная организация» – «общественная организация». Во французском языке слово «social» может употребляться в обоих смыслах: и как социальное, и как общественное. Однако в русском языке понятия социального движения и общественного движения не являются синонимами и употребляются в разных смыслах. Причем последнее понятие употребляется чаще в политическом контексте. Так же дело обстоит и с понятиями «социальная организация» и «общественная организация», Социальная организация – это научный термин, обозначающий объединение людей со своей сложной структурой, функциями, целями и т.д. Под понятие «общественная организация» в русском языке подпадает целый спектр организаций: от женских клубов до обществ любителей детективов или кактусов. И тем более термин «общественное движение» не применим, когда речь идет о рабочем движении, а именно ему Турен уделяет главное внимание в своей книге. Ведь одна из главных задач книги – анализ проблем рабочего движения в современном мире, возвращения его на политическую арену как важной социальной силы, способной влиять на сам ход исторического процесса. Отбрасывать в сторону современное рабочее движение во главе с профсоюзами, не считаться с ним (как это делают многие западные социологии), с точки зрения Турена, ошибочно.

Путаница с понятиями «социальной» и «общественной организации», на наш взгляд, не случайна. Совершенно ясно, что ни переводчик, ни, к сожалению, научный редактор не знакомы с основами социологической теории. Ибо как тогда могли появиться такие имена ученых как Симон, Марш и Бло (С.16)! В любом учебнике по социологии или социологическом словаре упоминаются ученые, разрабатывающие проблемы теории организации – Г. Саймон, Г. Марч и П. Блау. Не так давно вышел в свет специальный словарь по социологии организаций, не говоря уже о более ранних работах Д. Гвишиани, А. Пригожина и некоторых других. Однако ни переводчик, ни редактор не предприняли никаких усилий, чтобы проверить (если уж не знают таких корифеев социологии) написание фамилий.

Отвлекаясь от данного перевода хотелось бы отметить, что ошибки подобного рода (то ли в силу нерадивости и некомпетентности переводчиков, то ли из-за из самоуверенности) встречаются довольно часто, хотя существует специальная литература и правила транскрибирования иностранных имен на русский язык.

Что же касается перевода книги Турена, то он вообще полон всякого рода неточностями и погрешностями, лишь на первый взгляд незначительными. При более тщательном их анализе оказывается, что они ведут к существенному затемнению позиции автора. Увы, разбор всех их занял бы не одну страницу, так что приведем лишь один пример такого рода. На странице 12 Турен пишет о едином направлении, по которому движутся разные общества, о все более тесном их сплочении, несмотря на их социальную и культурную разнородность и географическую обособленность. Переводчик же перевел этот пассаж как стремление обществ «освободиться от своих местных географических, культурных и социальных особенностей». Трудно представить, каким это образом можно преодолеть географические особенности страны, если, конечно, не повернуть все реки в едином направлении и не сровнять горы и возвышенности! Уж Турен этого точно никогда не предлагал. Более того, он никогда не говорил и о стирании национальных, культурных, социальных или экономических различий, существующих между странами. Каждое общество идет к общей цели своим собственным путем. В своей концепции Турен всегда исходил из своеобразия и наличия отличительных особенностей экономики, культуры, социально-политического строя той или иной страны, будь то анализ свержения правительства С. Альенде в Чили, положения в странах Латинской Америки или исследования майского движения новых левых в 1968 года во Франции. Эту же мысль он проводит и в одной из своих последних работ «Pourrons – nous vivre ensemble?» («Сможем ли мы выжить вместе?»), где, говоря о сходстве и различии некоторых типов обществ, он отмечает ту единую цель, тот маяк, на который они ориентируются в своем развитии. Для Турена это постиндустриальное общество, к которому некоторые развитые страны уже пришли, другие же находятся еще в пути.

Здесь, кстати, следовало бы сделать одно уточнение. В российской социологической литературе (см. работы А. Галкина, В. Иноземцева, Н. Соболевой и др., которые переводчик, очевидно, проигнорировал) принят более точный перевод термина «société programmée (С.128 и далее) как «программируемого» общества, а не «программированного, поскольку сам Турен в своей более ранней работе «La société postindustrielle» собственно так и обозначил постиндустриальное общество. С его точки зрения именно «этот термин является наиболее полезным, поскольку точно указывает природу этих обществ, внутреннюю работу и экономическую деятельность» (С.3 указанной работы).

Целью нашей рецензии, конечно, не является доскональный разбор перевода книги Турена, просто хотелось бы напомнить тем, кто берется за переводы, что это все-таки серьезная, трудоемкая работа, требующая большой предварительной подготовки, знакомства со всем творчеством автора, традицией перевода его терминологии, ясного понимания его концепции, а не только знания иностранного языка.

Что касается данного перевода, то, конечно, *некоторое* представление о концепции Турена он дает. Читатель, уже знакомый с творчеством французского социолога, возможно, и сможет разглядеть истинную позицию автора, однако человеку неискушенному (например, студенту) будет весьма трудно продрасться сквозь дебри тяжеловесных нагромождений. Вероятно, как исходный черновой материал для дальнейшей работы этот перевод и сгодится, но как законченное, самодостаточное научное произведение – нет.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

Андрей Ашкеров¹

БУРДЬЕ ЖИВ!

**Бурдьё П. О телевидении и журналистике. –
М.: Прагматика культуры, 2002. – 160 с.**

После выхода книги «О телевидении и журналистике» на русском языке (французское издание датировано 1996 годом) умерший от рака за несколько месяцев до этого Пьер Бурдьё стал вызывать у некоторых настоящую ненависть.

Ненависть эта маскируется под учтивость по отношению к покойному мэтру, она проявляется лишь в форме комментаторского лепета адептов, внезапно подрастерявших интерес. Или потянувшихся за новыми интеллектуальными впечатлениями. Или не считающими нужным упомянуть имя того, кто и так на слуху. Того, кого больше нет физически и для кого больше нет места в изданиях, претендующих на то, чтобы подменить научное творчество выражением «экспертных оценок», а критический настрой – добротностью и респектабельностью.

Вспыхнувшее неприятие по отношению к Бурдьё – из числа того, которое принято называть глухим. Оно не декларируется, не обозначается прямо. Скорее проскальзывает. Проскальзывает в пугливом и, в тоже время, претендующем на бдительность «но», как бы исподволь добавляемом к прежде громогласному «да». Проскальзывает именно у тех, кто еще совсем недавно – особенно вскоре после смерти французского социолога – склонен был по обыкновению объявить его своим новым интеллектуальным гуру.

Сразу может возникнуть вопрос о причинах возникшего неприятия в журналистских и околоинтеллектуальных кругах, о том, почему это неприятие проявилось не только и не столько на родине Бурдьё, сколько в других странах, в частности, в России, где совсем недавно вышел перевод его книги. Казалось бы, что собственно, такого: знаменитый социолог приходит на телевидение и рассказывает с экрана о самом телевидении?

Книга состоит из пяти частей: «О телевидении», «Власть журналистики», «Поле политики, поле социальных наук, поле журналистики», «Олимпийские игры: программа анализа», и, наконец, послесловие «Политика и журналистика». Наиболее острая и интересная часть – первая. Она и представляет собой отредактированное изложение телевизионных выступлений французского академика. Основные темы Бурдьё – выяснение того, каким образом на телевидении действует механизм скрытой цензуры; ответ на вопрос, кто становится героем репортажей и телепередач, рассмотрение организации информационного вещания; анализ побудительных мотивов, которыми руководствуются тележурналисты при отборе новостей; описание последствий влияния рейтинга, выступающего не только индикатором рыночного спроса, но и своего рода посланником рынка; выявление форм, в рамках которых происходит сращение рыночного спроса с выражением вкусовых предпочтений потребителей различной телевизионной продукции; осмысливается выбор такого наиболее пародийного аналога «публики» (чей образ заботливо пестуется мыслителями типа Хабермаса) как телеаудитория; наконец, размышление о

¹ Ашкеров Андрей Юрьевич, кандидат философских наук, преподаватель философского факультета МГУ, научный сотрудник Института философии РАН.

© Центр фундаментальной социологии, 2002г.

© Ашкеров А.Ю., 2002г.

функционировании телевизионных «говорящих голов» – разнообразных комментаторов и экспертов, которые чрезвычайно удачно названы Бурдые «fast-thinker'ами» etc.

Сопоставляя все эти затронутые в книге темы с реакцией французского журналистского сообщества, Бурдые пытается вскрыть причины почти повсеместно негативного отношения к его работе.

Большая часть журналистов приняла бурдьерианское исследование за политический памфлет и решила отплатить ему той же монетой, приняв, попутно, позу оскорбленной добродетели. Бурдые полагает, что причиной стало особое журналистское видение мира, позволяющее ухватить лишь наиболее поверхностный аспект происходящего. Эта поверхностность служит, с одной стороны, тому, чтобы попытаться снять любой намек на скуку, а с другой – причиной того, что именно скука стала сопутствующим результатом медийной работы, связанной с бесконечным коловращением «событий», «сенсаций», «открытий» и «разоблачений».

Любые теоретические построения в соответствии с требованием укладывать в «формат», фактически изымаются из современного телевидения (что оправдывается иногда чуть ли не физиологическими ограничениями: например, «Слушать развернутый текст невозможно в течение более чем 2 минут» и пр.) Именно «формат» не позволяет осуществлять медлительные и пространные рассуждения, именно «формат» отказывает в возможности обращаться к соответствующей научной терминологии, именно «формат», наконец, закрывает перспективу сколько-нибудь полно продемонстрировать применяемые методы и т. д. Иными словами, «формат» мешает концептуализации и делает теорию на телевидении чем-то вроде непрошеной гостьи. «Неформатным» сделался и сам Бурдые. (По-настоящему подобное отношение выражается в очень своеобразной американской максиме: *The less know, the better off you are* (Много будешь знать меньше будешь получать)).

При этом те представители журналистского сообщества на телевидении, которые тяготеют к популизму, не просто навязывают зрителям потребление демагогии и фактически приписывают им «массовый» вкус. Нет, они, как констатирует Бурдые, еще и обрекаются на исполнение роли носителей этого массового вкуса, обладание которым оказывается, с точки зрения журналистского видения социального мира, дорого и приятно.

Соотношение с «форматом» выявляет, таким образом, наиболее замаскированные под «профессионализм» (и слившиеся с ним), наиболее политизированные (и сопряженные с особой телеполитикой), наиболее императивные (и выражающие особую телемораль) установки и предпочтения телевизионных журналистов. Именно эти установки и предпочтения являются в то же время и наименее осознаваемыми. Обращаясь к их исследованию, Бурдые проникает в *святая святых*. В ментальное и социальное устройство особой области производства. Признав при этом с самого начала, что телевидение и журналистика в целом представляют собой разновидности социальных полей и потому могут и должны рассматриваться именно так.

Наиболее изоциренные в интеллектуализме журналисты – уже не во Франции, а в России, – не замедлили обвинить автора «О телевидении и журналистике» в уклонении от обычной для него софистичности. Самые безапелляционные из них – опять-таки уже именно в России – обвинили его при этом в том, что по отношению к тонко налаженному и сложно организованному «механизму» телевизионного вещания он принял позицию *теоретического луддита*, не столько анализирующего, сколько крушащего попавшееся ему под руку медийное «средство производства». Разрушительность подхода французского социолога с точки зрения телевизионщиков связана попросту с тем, что научное сообщество проиграло журналистскому в конкурентной борьбе за умы и сердца публики. То, что учеными производится как штучный продукт ручной работы, на телевидении производится с поистине промышленным размахом – ежесекундно и крупными сериями.

На это обвинение нельзя ответить просто и однозначно. Можно, конечно, сказать, что качество штучного изделия неизмеримо выше, нежели качество серийного. Можно сказать и то, что вдумчивость требует медленных ритмов и не соотносима с требованиями

информационной гонки, без которой немисливо телевидение. (Тем более, что телевидение действительно создало потребителя, не менее «серийного», нежели потребляемая им продукция, создало оно и особый «скоростной» стандарт восприятия информации, приучив к сетке информационных выпусков и клип-культуре).

И все-таки не стоит недооценивать самого Бурдые. Он один из немногих, кто действительно старается избежать простого и однозначного решения. Бурдыерианский ответ заключается не в том, чтобы продемонстрировать, насколько штучность выше серийности, а в том, чтобы указать на слишком уж легкодостижимую *редукцию штучного качества к серийным образцам*. В массе журналистских обвинений против Бурдые заключено величайшее лукавство, сводящееся к тому, чтобы либо представить его позицию как позицию внешнего наблюдателя, не слишком разобравшегося в проблеме, либо к тому, чтобы представить ее как позицию социолога, решившего поиграть в публичность. В действительности Бурдые не склоняется ни ко второму варианту, ни к первому.

Он не может быть сторонним наблюдателем, поскольку вскрывает общие принципы существования социальных полей в их сравнении друг с другом – и, прежде всего, сравнивая поле журналистики и поле науки. Одновременно – и именно в силу того же подхода – автор рецензируемой работы не может быть обвинен и в том, что слишком поддавался соблазну публичного обращения. Напротив, попытка Бурдые заключалась в том, чтобы, сделав поводом такого обращения исследование его форм, открыть для телевидения перспективу самоанализа.

* * *

О чем бы ни говорили, и что бы ни имели в виду электронные средства массовой информации, они всегда обращаются к «среднему» индивиду и, вместе с тем, неизменно ведут речь от его имени. Отправитель и получатель информации совпадают, связывая себя чем-то весьма напоминающим круговую поруку. Уставившийся в экран телевизора искренне узнает себя в мелькающих «видеорядах» и «сюжетах»; те же, кто изготавливает «картинку», искренне убеждены, что занимаются всего лишь *отображением*, а не *изображением*.

Эта круговая порука преследует одну цель – утвердить мысль о реальности того, чего в действительности не существует, провозглашая: перед вами обычный человек – *такой, каким он не то, чтобы должен, но, скорее, попросту не может не быть*. Вот его помыслы и деяния, страсти, разочарования и проблемы.

В итоге, перед нами предстает вспученная аморфная масса человеческих «Я», – сколь не похожих друг на друга, столь и однообразных, – слипшихся в один невообразимо странный конгломерат. Мы слышим почти неразличимый шорох мифического социального муравейника, сам образ которого призван поддержать иллюзию общности, доверия, почти что солидарности: «Все мы люди» / «Все мы живем в одном мире» / «Весь мир – это и есть мы сами». Во имя чего заводится разговор об этой «всеобщности»? Кто ведет разговор от лица этого «мы»? Чьим миром выступает этот «мир»?

Электронные (и не только) средства массовой информации не то, чтобы предъявляют Норму, скорее, они предъявляют саму *Повседневность*. И учат ей.

Их существование целиком пронизано соответствующей *дидактикой*. Она нацелена на то, чтобы обыденное было усвоено всеми и чтобы само обыденное, в свою очередь, всех усвоило. Это усвоение с нашей стороны предполагает восприятие того, *что* надлежит мыслить, *как* нужно действовать, *каким образом* стоит критиковать etc. Одновременно можно сказать, что и подобное восприятие, и подобное мышление, и подобное действие, и подобная критика действуют в нас и посредством нас. Определяя попутно самые широкие границы нашего «мы».

Однако демократизм электронных СМИ – ложный демократизм. Широта фиксируемой коллективной идентичности оборачивается аморфностью, а *неустранимой издержкой всеобъемлющей медиации – всеобщее усреднение*.

Ни что здесь, в общем-то, не навязывается насильственно – скорее можно сказать другое: она могущественна, потому что незрима. Иными словами, насилие, на которое она

опирается, тем значительней, чем незаметней. В сущности, такого рода норму нельзя точно определить и выразить, – ей самой свойственно устанавливать *форму* выражения и *форму* определения чего бы то ни было.

Задавая вопросы, осуществляя вошедшее в моду интерактивное обращение к потребителю информации, СМИ программируют не столько возможные суждения: «Разделяю» – «Не разделяю», «Одобряю» – «Не одобряю», «Согласен» – «Не согласен», сколько саму *возможность* обладать мнением и, соответственно, его высказывать.

Эта возможность предполагается актом обобщения мнений, – являющего собой заурядную систематизацию и каталогизацию вечных истин, и, одновременно, актом их демонстрации – теми способами, которые допустимы в рамках господствующего стиля демагогии. Возникновение данной перспективы не представляет собой результат каких-либо поползновений на монополию производить «точки зрения», тем более она не выступает средством ее разрушения. Сам факт обладания мнением и его высказывания не есть нечто существующее вопреки монопольному владению правом говорить от имени общества, олицетворяемого «средним» индивидом.

В той мере, в какой этот факт подразумевает веру в фикцию под названием «общественное мнение», он, независимо от искренности или неискренности верующих, выступает и условием, и результатом совершающейся монополизации такого права.

Изначальным допущением, лежащим в основе концепции «общественного мнения», оказывается демократическая иллюзия равенства граждан: все равны как в отношении средств самовыражения, так и в отношении формулирования позиции. Отсюда не должен следовать нелепый вывод о том, что мы должны обрекать себя на молчание: молчать самому и заставлять молчать других – значит участвовать в установлении и поддержании завесы тайны, клубящейся вокруг одного предмета – публики и публичности, иными словами, тайны вокруг всего, составляющего самую суть *проблемы* средств массовой информации.

«Говорить», точно так же, как и «не говорить», означает в данном случае *концентрировать и узаконивать власть*, которая характеризует совершенно особые отношения: *отношения публичности*. Для того, чтобы разрешить эту антиномию между речью и немотой, воспроизводящую более общую антиномию общественного и частного, необходимо понять, что различаются не только возможности обладать мнением и его выражать, не только возможности авторитетно влиять на формирование этого мнения. Различаются также возможности *производить* мнение.

Само возникновение электронных масс-медиа обозначило огромную трансформацию журналистской деятельности, которую ни в коей мере нельзя недооценивать, но нельзя и описывать в стилистике самих СМИ – как нечто сенсационное и неслыханное.

С одной стороны, данная трансформация преемственна тому перевороту, который произошел в XIX в., ставшим эпохой бурного формирования газетных изданий и газетной журналистики. Уже тогда публичное высказывание продемонстрировало свою взаимосвязь с *экономическим рынком*, и само – при его посредничестве – предстало как предмет, циркулирующий на *рынке символической продукции*. Оно стало, в буквальном смысле, *производиться*, служа при этом орудием и достижением особой *индустрии*. Однако подобная произведенность или индустриальность мнений тщательно скрывалась. Механизм производства функционировал еще и как механизм утаивания самого себя.

С другой стороны, развитие радио в XX в., а затем, в особенности, телевидения, обозначило переворот в самом этом перевороте. Рынок символической продукции соединился с экономическим рынком *так плотно*, как никогда не соединялся до этого. Так называемые «материальные» ценности открыли свое символическое измерение, обнаружив себя как эффект реальности, который, конечно, производится, но производится прежде всего именно символически. В то же время так называемые «духовные» ценности обнаружили свою едва ли не обескураживающую «материальность», поскольку рыночность оказалась имплантирована как в человеческое действие, так и в человеческое мышление. СМИ (в особенности, электронные) стали одновременно и проводником и итогом данного процесса.

Кажется, что в противовес всем ценностям национального образа жизни, ценности СМИ универсальны по происхождению. На самом деле, в СМИ лишь универсализируются нормы определенной нации или группы наций. Какая идентичность навязывается безапелляционно и настойчиво – без всякого «ответа» со стороны ее обладателя? Какая идентичность является социальной конструкцией, – создаваемой в рамках социального, политического, символического, культурного производства, – и становящейся чем-то вроде *родимого пятна* или, по крайней мере, *несмываемого клейма*?

Разумеется, национальная идентичность, точнее, все то, что, выражаясь языком Пьера Бурдьё, составляет суть «*универсалистского империализма*» и «*интернационального национализма*».

Страны Запада виртуозно овладели средствами массовой информации как орудием универсализации собственных форм поведения и мышления. Влиятельность этого орудия зиждется на мнимой неощутимости последствий его применения, которая, в свою очередь, выступает еще и признаком такой влиятельности. Доступ к универсальному всегда ограничен и потому те, кто не получает подобный доступ, оказываются отверженными – заложниками резервации частного и особенного: желаний, волений, склонностей.

Отверженные никак не относятся к тем, кто определяет и исполняет долг. Чтобы не очутиться в числе отверженных, нужно создать альтернативный образ универсальности, иное видение мира и свой собственный способ его переустройства. Короче говоря, нужен иной тип коммуникации – в том числе и в первую очередь для самих масс-медиа, – которая воплотила бы новый для них и иной порядок повседневности. Исходя из того, чтобы повседневным стало обретение адресата, дающего ответ, без которого неосуществима и абсурдна любая ответственность.

* * *

Книга «О телевидении и журналистике» актуальна в России больше, чем где бы то ни было еще. Актуальна в первую очередь с точки зрения того *сугубо консервативного* отношения к социальной жизни, которое заключено в ее тексте.

Это только на первый и самый поверхностный взгляд кажется, что она посвящена лишь журналистской деятельности и институту телевизионного вещания самим по себе. В действительности, книга о другом. Она о том, как важно беречь профессиональную чистоту жанра, сохранение которой одновременно является и моральной доблестью, и производственной необходимостью. «Виртуализация» общественных отношений, воспетая большинством теоретиков глобализации, оборачивается, по мысли П. Бурдьё, банальным диктатом электронных СМИ, которые нарушают автономию различных форм существования в обществе и, в конечном счете, препятствуют сохранению общества как сложного, комплексного образования.

Конец 1980-х – 1990-е гг. стали в нашей стране временем всесмещения профессий. Профессионалом стал считаться человек, который умеет делать все понемногу. Заменителем идентичности либерального *self-made-man*'а, то есть идентичности существа, не просто добившегося успеха, но и в буквальном смысле себя создавшего, стал у нас человек, который с миру по нитке себе чего-нибудь *натянул*. Самым банальным выражением подобного «с миру по нитке» явилась у нас криминализация самых разных форм «бизнеса», которые, тогда, на заре 1990-х, легитимно или почти легитимно оказались сопряженными с мошенничеством, воровством, коррупцией и т. д.

Однако соответствие принципу «с миру по нитке» сделалось хорошим тоном и для любого занятия, которое необходимо превратить в «бизнес». Нужно отчасти быть политиком, отчасти художником, отчасти интеллектуалом, отчасти кем-то еще. Тут-то и происходит настоящее всесмещение, оборачивающееся в то же время и круговой порукой: чтобы сделать что-либо, нужно продавать и *продаваться*, купля-продажа и есть то *дело*, которым не может не заниматься каждый из нас. (Даже не для того, чтобы преуспеть, а именно для того, чтобы быть/стать собой).

Только законченный эстет может видеть в такого рода дурновкусной мозаике соответствующее духу времени воплощение особенного «русского постмодернизма». И только эстетизирующий себя и свою деятельность профессиональный коммуникатор может превратить это в стиль жизни. Бурдые показал, что виртуальное единство мира, которое ассоциируются с глобализационными переменами, коснувшимися электронных СМИ, является в действительности своеобразным интернационалом коммуникаторов-посредников, которые повсюду осуществляют одну и ту же деятельность, и действуют одними и теми же способами.

Парадокс заключается в том, что тогда, десять лет назад, нисколько об этом не подозревая, Бурдые оказался в числе тех, кто поспособствовал обоснованию такого превращения. В 1993 году на русском языке вышел сборник его статей под названием «Социология политики». В те времена странное словцо «PR» в России еще только начинало мигать огоньком вездесущей вывески, не успев, покуда, заморозить обывателя своим холодноватым неоновым светом. И все же в те времена у нас уже появилась книга, которая могла бы послужить солидным теоретическим обоснованием входящего в моду технологического отношения к публичной коммуникации.

Впрочем, в начале 90-х лишь наиболее искушенные читатели могли заметить, что главной темой этой работы была именно *технологизация* общественной жизни.

Социальная реальность открывалась Бурдые как нечто сконструированное, *сделанное*, а существование социальных классов и групп объявлялось результатом политической мобилизации. (Больше для теоретического подкрепления подобного умонастроения сделали лишь книги Ж. Бодрийяра, которого, как и Бурдые, знают весьма однобоко – все слышали о его симулякрах и симуляциях, но почти никто – о предпринятой им критике «нетранзитивности» масс-медиа). Ничто в этом мире, – с пошловатой пышностью переведенным в той первой книге как «социальный универсум», – не происходило без вмешательства воли господствующих, которые делали инстанцией этой воли свои представления. Отсюда брала начало классическая бурдьеррианская категория *символической власти*.

Эта категория позволяла избавиться от присутствия метафизики в социологии (характеризующего, в частности, теорию лидерства М. Вебера) и обратиться к социологизации самой метафизики. Иными словами, благодаря этой категории открывалась возможность избавиться от наследия, связанного с веберовским понятием харизмы, и воспринять любой личный дар как результат особой производственной деятельности, в равной степени не относящейся ни к традиционному экономическому производству, ни к числу творений Бога или Природы.

Символическая власть – это власть делать нечто существующим, обращаясь к словесным ресурсам и обращая в ресурс все, что связано с возможностью сохранять молчание или, напротив, высказываться. Произнесенные слова сотворяют события, позволяя отчасти свершаться даже тому, чего нет и никогда не было. Непроизнесенные слова оставляют свершившееся в ватном вакууме молчания, позволяя всем жить так, как будто ничего не случилось и не может случиться в принципе. Носитель символической власти – тот, кто способен вызывать веру, однако, утратив в качестве своего объекта Бога и Природу, вера сама перестала быть чем-то природным или божественным. Теперь вызывать веру может не тот, кто наделен соответствующими необычайными способностями, а тот, кто имеет специфические возможности, *средства*, выступающие в качестве равноправной (наряду с экономическим, политическим и пр.) разновидности капитала, который можно прирастить или растратить, использовать или оставить без движения.

Разумеется, даже ничего не зная об авторе и его произведениях, за эту мысль в свое время сразу ухватились те, кто был профессионально связан (или хотел быть связан) с формированием общественного мнения и функционированием средств массовой информации.

К числу этих людей относятся средней руки демиурги «новой страны», специалисты по выборам кого угодно куда угодно, эссеисты из глянцевого журналов, активисты «возрождения России», чиновники, склонные к философским занятиям, мелкопоместные делатели королей, культурологи и культуртрегеры, интернет-писатели, пропагандисты, переводчики французской литературы, выпускники гуманитарных вузов, люди, следующие за модой, производители печатной продукции, обозреватели, пишущие за ставку и за гонорар, бывшие одесские кружковцы-диссиденты и их достойные ученики, в общем, потенциально все, кто ассоциирует свою деятельность с плетением словес и выписыванием (выстукиванием) букв. А также с тем, что соотносится каким-то образом с ласкающим их слух понятием «позиционирование».

То, что для Бурдые, вскрывавшего неизбежность капитализации символической власти при господстве экономических отношений, было предметом *критического* (и, надо сказать, в некоторых случаях критичнейшего) анализа, сделалось плохо понятым и переваренным руководством к действию.

Только сейчас им открывается, как обманулись те, кто воспринял все это подобным образом.

Думая, что получили из рук Бурдые «научное» подтверждение собственной гордыни: *если общественная реальность создается, мы главные люди в этом лучшем из миров*, «посредники-коммуникаторы» столкнулись с постановкой вопроса, согласно которой, выступая от имени профессионального сообщества, они дискредитируют само имя профессионала.

Полагая, что апелляция к бурдьеровским построениям сделает их неуязвимыми для любой критики, они оказались предметом скрупулезного анализа собственной монополии на критические суждения со стороны того, кто, как им еще недавно казалось, снабдил их подобной неуязвимостью.

Надеясь, что никто не посягнет на их законное право присваивать себе возможность воплощать общественное мнение, они сделали достоянием исследования, в котором само это общественное мнение рассматривается с точки зрения процедур отбора и выражения наиболее ортодоксальных и кондовых суждений.

Как видно, смерть не сделала Бурдые менее беспощадным и точным.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

Крылов К.А.*

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

Артур Данто. Аналитическая философия истории / Пер. с англ. А.Л.Никифорова, О.В.Гавришиной. - М.: Идея-Пресс, 2002. – 290 с.

1965. В этом году University Press выпускает «Analytical Philosophy of History» by Arthur C. Danto. 2002. Издательство «Идея-Пресс» издает перевод вышеупомянутой книги: «Аналитическая философия истории» Артура Данто. За сорок без малого лет с книгой случилось как раз то самое, чему посвящена изрядная её часть: она стала историческим фактом. Если точнее – фактом истории одной из ветвей американской аналитической философии. Стоит ли интересоваться тем, что висит на этой ветке, если само древо ныне зеленеет не столь уж пышно? Да. Теперь мы можем оценить *значение* этого факта. Плод должен созреть. Значение факта открывается после того, как он ушёл в прошлое весь целиком, но ещё не успел забыться: сова Минервы вылетает в сумерки.

Содержание книги (если интересоваться только её содержанием) довольно-таки тривиально. Первые главы посвящены определению понятий, связанных с историческим знанием, середина – критике возражений против его возможности, конец – роли нарратива в историческом объяснении.

Начнём поэтому именно с истории вопроса. Прилагательное «аналитический» используется – не как случайное слово, а как часть самоназвания – в двух великих интеллектуальных течениях прошлого века (который, впрочем, для большинства наших современников ещё не кончился) – в психоанализе и аналитической философии. Предметом непосредственного интереса психоанализа является *речь* – прежде всего речь пациента. Аналитическая философия занималась *языком*, прежде всего языком науки (напомним: энтелехией европейского «практического знания» была медицина¹). Речь и язык, понятия таким образом, связаны, понятное дело, не вполне сосюровским отношением *власти*. Образцом всех и всяческих «законов божеских и человеческих» являются законы языка, грамматика. Однако, речь ускользает от власти языка и «что-то такое себе крутит».

Психоанализ изучает отклонения от «правильной речи» - ошибки, оговорки, грамматические нелепицы, понимая всякую оговорку как проговорку и невольное признание. Аналитическая философия берёт выше: её интерес – не ошибки (или преступления) подданного, а грехи законодателя, то есть имплицитные слабости и дефекты самих языковых правил. Интересно, что обычно аналитические философы настаивали на ужесточении законодательства: если психоанализ искал смысл (пусть даже предосудительный) в любом лепетании, и подстрекал к нему, то гордое аналитическое «это предложение не имеет смысла» имело в виду «об этом следует молчать». Психоанализ пытался *прокинуться* в то, от чего философия языка с отвращением *откидывалась*.

Да, ведь мы говорим об истории. Для Фрейда история – это всегда история болезни (человека, культуры, или человечества в целом). Болезнь понимается классически – то, что болит, что «беспокоит», как выражаются доктора в районных поликлиниках. Когда

* Крылов Константин Анатольевич, политолог, публицист, зав. Отделом политики газеты «Консерватор».

© Центр фундаментальной социологии, 2002 г.

© Крылов К., 2002 г.

¹ Во всём объёме этого понятия, включая и исцеление, и палаческое искусство: Бэкон говорил о «истязании природы», у которой следует «вырвать» её тайны.

«беспокоить» перестает, мы говорим, что оно *прошло*. «Прошное», таким образом – это то, что вроде должно уже пройти, но вот никак не проходит, мучает, *воспроизводит себя как невроз*. Лечение: перестать беспокоиться и начать жить² – и «времени больше не будет».

Аналитическая философия аккуратно воспроизводит тот же самый диагноз, указывая на непростительный промах языка, допускающего формы времени глагола «быть». Любое высказывание должно иметь значение истинности, то есть быть либо истинным, либо ложным. Но истина (и по Аристотелю, и по Тарскому, и по кому угодно ещё, если слушать людей серьёзных и не склонных к поэзии) – это когда говорят «есть» о том, что есть, и «не есть» о том, чего нету. Но что делать с сомнительным «было»? Во всяком случае, оно не «есть» – ибо оно «прошло». Тогда высказывания о нём не могут быть ни истинными, ни ложными. Что *absurdum est*, и сие вполне очевидно.

На это аналитические философы (например, Льюис) отвечали так. Сами по себе высказывания о прошлом бессмысленны. Зато вполне осмысленны высказывания о том, что *осталось* от прошлого в настоящем. Осталось довольно много: следы, черепки, летописи, воспоминания. О них-то мы и говорим, когда рассуждаем о прошедшем.

Данто, однако, задаётся вопросом: а откуда мы, собственно, знаем, что данные «факты настоящего» на самом деле являются «следами» каких-то других фактов? Почему, собственно, черепок для нас – это именно *черепок* (некогда разбитого горшка), а не просто «кусочек глины неправильной формы»? Почему мы признаём некоторые предметы «следами», «обломками», «обозначениями» чего-то, чем они не являются?

Собственно, к этому же сводится вся проблематика знака. «Символ», по изначальному греческому значению этого слова – это именно что обломок, черепок, который можно приложить к другому черепку – например, для того, чтобы убедиться в том, что это «тот самый», дополняющий его черепок. Но даже если этого второго черепка нет, по виду первого мы можем догадаться, что чего-то недостаёт³. А догадаться мы можем, если имеем в уме идею того целого, частью которого является предьявленный нами обломок... хоп, мы уже прочно завязли в платонизме, конкретно – в «Пармениде» (131 а-е, где обсуждается делимость идей).

Но платонизм для аналитической философии неприемлем. Поэтому Данто в поисках критерия различия «настоящих вещей, которые просто есть», и «следов и отпечатков прошлого», которого в полноценном виде уже не существует, обращается к ехидному эмпирику Юму, разбудившего, как мы помним, Канта от догматического сна. Тема сна для Юма, кстати, очень важна, потому что юмовский критерий отличия настоящего от следов прошлого (то есть «ощущений» от «воспоминаний» и «фантазий») состоит в том, что «настоящие ощущения» ярче и отчётливее и того, и другого.

Казалось бы, ничего нового и удивительного. Тем не менее, именно в этой точке происходит важнейший поворот мысли (в который изложение Данто вписывается, не замечая этого). Главный признак «настоящего времени» – яркость. Мы судим о нашем настоящем, потому что у нас есть идеальное представление о настоящем: настоящее – блестящее, самозабвенно захватывающее нас. Настоящее – это то, что переживается сильнейшим образом, это *ярчайшее впечатление*.

В таком случае, мы воспринимаем прошлое как причину отклонения настоящего от своего идеального образа. Мир должен выглядеть так, как будто он создан минуту назад (Данто уделяет этой возможности немало места в своих рассуждениях). «Знаки прошлого»

² Это, собственно, содержание ницшевского «О пользе и вреде истории для жизни» - сочинения, которое наш автор, несомненно, изучал весьма внимательно: Данто – автор книги «Ницше как философ» (перевод - Идея-Пресс, 2001).

³ Такую же природу имеет любая «символическая система», в частности – естественный язык. Язык – это горсть обломков, черепков, система подвижных руин. В этом смысле выражение «язык руин» - тавтология: только руины и следы и могут что-то «значить» – именно потому, что они перестали «быть» тем, что они теперь «означают». Впрочем, «настоящие» знаки никогда не были тем, что они значат – они *рождены мёртвыми*, и существуют как «следы и образы прошлого», которого они никогда не имели.

на фоне этой яркости и света выглядят как потёртости, выщерблены, царапины – то есть всё то, что портит и умалывает этот свет настоящего. Настоящее же – именно что *настоящее*, то есть неподдельное, полновесное, не потёртое.

И тогда критерий различения «есть» от «было» – *эстетический*. Прошлое определяется как серость и скука. Таким образом, учение о времени сводится к эстетике восприятия: прошлое – тускло, серо, настоящее – ярко и увлекательно. Более того, всё скучное и серое и есть прошлое.

Что из этого следует? Очень многое. Например, то, что, номинально пребывая в настоящем времени, можно при этом находиться в прошлом. Например, «тоталитарный строй» (какой-нибудь «унылый совок») – это попросту говоря, *вчерашний день*, к которому прикованы несчастные жертвы какого-то недопрошедшего события, невротически повторяющегося (в случае с «совком» это «великий Октябрь», отмечаемый в ноябре)⁴. В «символическом прошлом» находятся также и «отстающие общества» – а также и «низшие классы» обществ прогрессивных. В точке абсолютного настоящего (где всё ярко, празднично, и по-настоящему) места очень мало, а людей на свете много⁵, так что «массу» приходится сбрасывать во «вчера», где ей и место. Единственный шанс для масс выбраться на сцену, к *месту действия* – это какая-нибудь катастрофа, война или революция, когда время «вывихивает сустав».

В таком случае, что есть история? Некое целое, объемлющее прошлое и настоящее, несмотря на их антагонизм. Данто замечает: если прошлое недоступно, у нас нет никаких свидетельств об истории, *кроме самой истории*. История как целое доступна нам, ибо она продолжается и сейчас. Кстати: если она вдруг и в самом деле кончится, она станет для нас недоступной, точнее – неинтересной. Прошлое окончательно перейдёт в разряд дефектов и изъянов (или, как говорили в советское время, *родимых пятен*), которые уже ни о чём нам не говорят, а только мешают жить (Ницше здесь неожиданно смыкается с Фукуямой: история кончена, пора её *забыть*).

Но в 1965 году история ещё была, и связывала прошлое (представленное в виде царапин на свежесмытом «сейчас») и это самое «сейчас» – через «исторически значимые» события. Некоторые царапины болят и ноют «по погоде»: меняется давление, и старые раны начинают саднить. Историк обращает внимание не на все события прошлого, а только на те, которые имеют значение здесь и сейчас. Точнее, *приобрели* значение – сейчас. Повитуха, принимавшая роды у мадам Дидро, не могла знать, что родился автор «Племянника Рамо». Более того, когда Дидро писал первые строчки «Племянника», никто не знал (в том числе и автор), что его книга переживёт своё время и войдёт в корпус французской классики. Мы интересуемся в прошлом лишь тем, что не померкло – а точнее, *встухнуло* здесь и сейчас, с небывалой яркостью. То есть интересуемся тем, что для нашего настоящего *стало* существенным, стало «значить».

Именно поэтому история предстаёт перед нами как собрание «отклонений» и «уникальностей», паноптикум, кунсткамера. Обычное – это неяркое, стёртое, то есть «прошедшее», заведомо прошедшее, даже если оно длится и посе́йчас. Отрицается как раз неправдоподобное, удивительное. Настоящее же и должно быть удивительным, ярчайшим

⁴ Кстати сказать, «тоталитарность» есть просто следствие нахождения в прошлом. Прошлое, как известно, неизменяемо. Тот, кто живёт в прошлом, «ничего не может изменить», и переживает это как скованность и связанность по рукам и ногам. «Ничего нельзя сделать».

⁵ Тут имеет смысл вспомнить чаадаевскую теорию времени, имплицитно присутствующую в «Философических письмах». Россия находится не просто «вне истории», а вне «течения времён», то есть её попросту нет и не было (в дальнейшем автор «Апологии сумасшедшего» понял это «не было» как «ещё не было»). Впрочем, и большая часть видимо сущего – не есть. Подлинно существует только точка абсолютного настоящего – Римский Папа, уделяющий от своего бытия Вселенской Церкви, и через неё – Европе как *дню мира*. Остальной же мир всего лишь «был»; Индия или Китай – всего лишь «живые пирамиды», *знаки* давно прошедшего, изучать их – дело историков и археологов. Надо сказать, что Чаадаев здесь гениально угадал магистральную линию позднейшего «востоковедения» и ещё более поздней «антропологии» – эти науки изучают вполне настоящих «туземцев и дикарей» именно как *живое прошлое*.

(С.104). История дополняет наше тусклое настоящее до полноты той яркости, которую оно должно было бы иметь, если было бы вполне настоящим.

Усилие, придающее знаку смысл – это использование знака для воскрешения галлюцинаторного чувства реальности прошлого, его «яркости». Марсель Пруст ощущает размоченный в чае вкус пирожного, и вспоминает «с навязчивой яркостью» своё детство – причём вспоминает именно потому, что пытается понять, что *означает* этот вкус (С.94 и сл.). «Означать» – это, собственно, «помочь пережить заново», с полнотой ощущений.

Напоследок – риторический, казалось бы, вопрос. Что нас возбуждает в прошлом, что нас касается в нём? Данто не говорит, но не может забыть о любимом им (хотя и странную любовь) Ницше, который недвусмысленно утверждал, что чувство причинности порождается в нас желанием *мести*. Простейшая *история*, в которую мы можем *попасть* (учитывая бытовое значение выражения «попасть в историю») – это месть. Начиная от мелкой пакости («соседи достали, надо что-то делать»), и кончая классической вендеттой.

Историю делают люди, одержимые идеей причинности. История – это то, ради чего мы готовы убивать друг друга *сейчас*.

СТАТЬИ И ЭССЕ

*Александр Ковалев**

МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК ЭВОЛЮЦИЯ ТИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Понятие «модернизация» сложно и противоречиво. Противоречива и его история и судьба теорий модернизации. После простого отождествления модернизации с «вестернизацией», «европеизацией» или «американизацией», после прямолинейного противопоставления в 50–60 годах XX века традиционных институтов, якобы всегда тормозящих общественное развитие, институтам «современным» («модерным») пришел период признания возможности многолинейного развития, основанного на сложности и разнородности традиций, определяющих разные стартовые позиции и пути для модернизации и даже способных крепнуть и расширять сферы своего влияния благодаря ей¹. Затем на Западе наступило время почти тотального разочарования в теоретизировании в категориях модернизации. Стало модным рассуждать о «постмодерной» эпохе, тем самым как бы подразумевая, что «современность» в качестве желанного образца развития для стран «третьего мира» и посткоммунистических стран бесповоротно превзойдена западными обществами. Однако именно проблемы и потребности постсоциалистического мира в приобщении к «современному» уровню потребления, информационного обеспечения, связи и т.п. дали толчок возрождению концепции модернизации, правда, уже под соусом теорий «неомодернизации»².

Сколько-нибудь содержательные описания модернизации неизбежно должны быть комплексными, системными, учитывающими экономические, социальные, политические, культурные и личностно-психологические аналитические измерения общественной жизни. При таком проблемном размахе очевидно, что создание когда-либо единой теории, охватывающей все процессы модернизации, невозможно. Следует твердо отказаться и от попыток трактовать модернизацию как предсказуемый, универсальный эволюционный процесс со строгой последовательностью стадий, венчаемых единой моделью «современности» как образца и цели достижения для «отсталых» обществ. Тем самым лишается смысла и прежний общий взгляд на модернизацию как на всемирный процесс вытеснения локальных типов традиции универсальными формами современности. Теории модернизации всегда ориентировались на разные концепции социальной эволюции. Но такие неэволюционисты, как К. Поппер (в своей критике так называемого историцизма) и Ф. Хайек давно и достаточно убедительно показали, что любая эволюция (хоть биологическая, хоть социальная) представляет собой неповторимый уникальный процесс непрерывного приспособления к непредвиденным, случайным, неизвестным заранее событиям. Поскольку же обобщения возможны только на базе сравнительного изучения группы объектов, но отнюдь не единственного уникального объекта, то никакая теория эволюции принципиально неспособна дать нам «законы эволюции» или «законы исторического развития», позволяющие рационально предсказывать будущее развитие

* *Ковалев Александр Дмитриевич* – кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН

© Центр фундаментальной социологии, 2002г.

© Ковалев А.Д., 2002г.

¹ Хороший обзор концепций 70-х годов XX века, пересматривающих прежнюю парадигму «традиция—современность», см.: *Осинова О.А.* Американская социология о традициях в странах Востока. М.: Наука, 1985. С. 106 и далее.

² Ключевые положения теорий неомодернизации см.: *Штомка П.* Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 179–185.

общества и культуры. Социокультурная эволюция, утверждает Хайек, «не детерминирована ни генетически, ни как-нибудь иначе, и выражается она в многообразии, а не в единообразии»³. И теория такой эволюции в лучшем случае может вырабатывать обобщенные формальные критерии для оценки достигнутого многообразия и осторожно выдвигать на их базе не конкретно-содержательные, а, как называет их Хайек, всего лишь «структурные предсказания», или «предсказания в принципе», намечающие пути структурной реорганизации, способные повысить приспособительный потенциал данной сложной системы к непредсказуемым эволюционным изменениям вне и внутри ее. При таком подходе можно подумать и о подыскании подходящих операциональных показателей для вышеупомянутых формальных критериев.

В свете изложенных соображений общей теории эволюции соответственно можно переосмыслить и понятие модернизации. Здесь мы сразу отвлекаемся от сложного содержания конкретных процессов модернизации, от проблем исторического различия «первичной модернизации» (ранние промышленная, политико-правовая и образовательная революции в странах западной цивилизации) и «вторичной модернизации» (подражательные процессы развития в развивающихся, социалистических и постсоциалистических обществах в разное время), от идеологических парадоксов, когда модернизация незападных стран осуществляется под лозунгами антимодернизаторских идеологий, и вообще от всех содержательно-исторических проблем равной сложности. Выделим предельно абстрактные и максимально близкие духу эволюционного подхода в социологии измерения модернизации с учетом того, что мы исключили из их числа представления, заимствованные из теорий конвергенции, где модернизация выглядит завершающим этапом эволюции всех обществ. Вместо конвергенции ныне предпочитают говорить о разнообразии, различии переходных институтов и форм, участвующих в процессах модернизации и существующих в качестве потенциальных образцов для нее в высокоразвитых обществах «современного» типа. Это разнообразие, отражающее усложнение систем человеческих отношений, с эволюционной точки зрения издавна описывалось в категориях дифференциации (прогрессирующего разделения функций и роста относительной независимости составляющих единиц) социальной структуры (включая ее экономический, политический, культурный и иные аспекты).

С некоторых пор многие англоязычные авторы предпочитают говорить о «высвобождении» (disembedding)⁴ социальных институтов их конкретных контекстов, крепко связанных отношений досовременных типов обществ, и локальных контекстов отношений в современных обществах и тем самым об увеличении разнообразия благодаря новым комбинациям отношений, преодолевающих свою прежнюю пространственную и временную ограниченность. «Высвобождение» означает также уход одних институтов из-под контроля других, например, образования, науки, искусства и т.п. из-под контроля религии. Увеличение разнообразия общественных отношений, возникающее при усложнении и количественно-материальном росте социокультурных систем, передается и отражается в сложности психологической сферы, в сложности человеческой личности. Ее «высвобождение» тесно связано с историческим процессом рационализации человеческих отношений с природой и обществом, о чем так много и настойчиво писал Макс Вебер. Рационализация же немислима без развития и неуклонного возрастания роли символических коммуникационных систем, позволяющих социальным и внутриличностным отношениям абстрагироваться от времени и пространства, стать общезначимыми.

Одно лишь вышеприведенное перечисление тем, ассоциируемых с понятием модернизации, убеждает, что связать их в единую, стройную работоспособную теоретическую систему вряд ли когда-либо удастся. Нечеткий, эклектический и расплывчато-собираТЕЛЬНЫЙ характер этого понятия собственно и был причиной частых разочарований в теориях модернизации. В то же время жаль отказываться от старой

³ Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. М.: Новости, 1992. С. 48.

⁴ См., напр.: Giddens A. Modernity and self-identity. Stanford, 1991. P. 17 etc.

почтенной этикетки, пробуждающей такие богатые ассоциации. Возможный выход из этого затруднительного положения — найти некоторые наглядные, измеримые, допускающие рабочее, «операциональное» применение показатели сложности, разнообразия, высвобождения, косвенно оценивающие степень «модернизированности» тех или иных обществ.

Такие показатели начали разрабатываться давно, по сути с момента появления первых теорий модернизации. Беда в том, что идеология всех этих показателей была редуционистской, сводящей смутный космос процессов модернизации к какому-нибудь одному институциональному измерению. В принципе, в этой сфере приемлем лишь один «редуционизм», замыкающий все процессы модернизации на типе, на структуре личности «современного человека», поскольку эта «структура» явно сложнее любой социальной структуры, в том числе и любого комплекса явлений модернизации. Хотя замена одной сложности еще большей сложностью не облегчает решение теоретических задач модернизации, но ориентация «на человека» как точку отсчета придает неожиданную перспективу самым избитым ходам мысли. Так, среди разных институциональных измерений модернизации особой популярностью пользовалась и пользуется индустриализация, как совокупность общественных отношений и процессов, благоприятствующих широкому применению физической энергии и машин и относительно легко поддающихся количественной оценке. На индустриализацию как технико-технологическое преобразование материальной жизни человека тоже можно смотреть с точки зрения возрастания материального разнообразия, увеличивающего свободу выбора различных благ для человека и тем «высвобождающего» его из конкретного, узкого, единого для всех диапазона возможного выбора в сфере потребления, досуга и т.п. Об этом в сущности говорили возникавшие одно за другим в 60-е годы 20 века под влиянием идей Римского клуба операциональные технологические определения модернизации на основе то мера суммарного потребления энергии на человека, то эффективного долевого соотношения живых и неживых источников энергии, то экономического «коэффициента прогрессивности капиталовложений» (то есть отношения прироста производительности труда за счет технических нововведений к приросту производительности труда за счет простого количественного увеличения фондовооруженности производства) и других подобных показателей. Применение их поодиночке и с абсолютистскими притязаниями, хотя частично и отражало успешность внедрения лучших образцов производительного поведения в изучаемых обществах, но часто вело к редукции комплексной социологической проблематики модернизации исключительно к экономической модернизации и, более того, к «жалким и ничтожным» (по определению Ф. М. Достоевского) попыткам оценивать цивилизацию, культуру или благосостояние государства «числом, мерой и весом продуктов, которое производится людьми»⁵.

Критика таких редуционистских и ясных определений модернизации несколько не отменяет их полезности и применимости для специальных задач и на своем месте. Нужно только забыть о глобальных и абсолютных претензиях и рассчитывать на комплексность использования и системное восприятие операциональных показателей модернизации. К набору этих показателей здесь предлагается прибавить еще один «операциональный» критерий уровня модернизированности обществ, заимствованный из теорий организации. Критерий этот опирается на хорошо известные, даже банальные, типологии организаций и позволяет судить о степени модернизации просто по большей распространенности определенных типов организации по сравнению с другими. Слово «эволюция», вынесенное в заголовок этого аналитического обозрения, не должно вводить в заблуждение: подход здесь не «эволюционный» в смысле последовательного развития и смены одних типов другими, высшими, а, так сказать, эволюционно-типологический, в смысле одновременного сосуществования разных типов организации, которые по-разному распространены в

⁵ Достоевский Ф.М. Полн. Собр. Соч. В 30-ти тт. Т. 11. Л.: Наука, 1974. С. 193.

различных обществах и по-разному способствуют развитию рациональности и разнообразия в человеческой деятельности. Вся «новизна» подхода в данной работе сводится к предложению использовать идеи из одной почти самодостаточной теоретической сферы для решения проблем в другой, доселе плохо связанной с первой. Чтобы выполнить такую задачу, придется попутно дать очерк эволюции рациональности, воплощаемой в человеческих организациях, и в некоторых методологических подходах, демонстрируемых в этом обозрении, вовсе не претендующем на учет архисовременных достижений в теории организации, заключена вся польза, какую можно извлечь из данной работы.

Теории организации интересуют нас здесь лишь постольку и в той мере, в какой они разрабатывают исконную эволюционистскую тему нарастания внутреннего разнообразия, разнородности, разделения труда и т.п. в структурах организации во взаимосвязи с изменениями ее социальной среды, а также тему развития рациональности в плане повышения эффективности использования возможностей указанного разнообразия. Социальное окружение, среду организации составляют те внешние факторы (не подвластные организации либо контролируемые ею в ограниченной степени), которые непосредственно влияют на реализацию целей организации. Основная переменная, характеризующая среду, — ее сложность. Чем сложнее среда, тем больше неопределенность, то есть тем менее предвидимы результаты действий организации. Если организация вынуждена действовать в сложной среде с полным использованием своих потенциальных ресурсов, то сложность среды должна отразиться в сложности целей и задач организации, а, следовательно, в типе ее структуры. Такой релятивистский (учитывающий изменения среды) подход теорий организации к изучению эволюционного повышения сложности организационных структур, сопоставляемых со сложностью среды, в какой-то мере помогает осмыслить исторический сдвиг от традиционного к современному (капиталистическому) типу общественной организации, то есть важнейшую историческую проблему теорий модернизации.

В сущности тут имеются в виду исторические сдвиги того же типа, какие одним из первых проанализировал К. Маркс при переходе от феодального общества к капиталистическому, если изложить его проблемы чуть ближе к языку теорий организации. Исходный пункт марксистского исторического анализа в «Манифесте Коммунистической партии», например, тоже составляют изменения среды — географические открытия и расширение рынков. Прежняя феодальная, или цеховая, организация промышленности более не могла удовлетворять спроса, возраставшего вместе с новыми рынками и уступила место мануфактуре. Разделение труда внутри отдельной мастерской пришло на смену разделению труда между цеховыми корпорациями. Дальнейший рост рынков и транспортных возможностей привел к развитию крупной промышленности как господствующей формы организации в экономической сфере. Крупная промышленность создала всемирный рынок. Новые формы организации разрушали традиционный уклад феодальных отношений. Давление раз возникшего свободного рынка, этой крайне изменчивой среды, имело следствием, что буржуазия уже не могла существовать без неустанного революционирования средств производства, а, следовательно, и производственных отношений и всей совокупности общественных отношений. «Беспрестанные перевороты в производстве, непрерывное потрясение всех общественных отношений, вечная неуверенность и движение отличают буржуазную эпоху от всех остальных»⁶. Поэтому процесс перехода от традиционно-феодального общества к капиталистическому можно рассматривать как переход от статичного общества со стабильной организацией и относительно стабильной окружающей средой к обществу, в котором изменение и обновление стало повседневным элементом жизни, способом существования, продиктованным основным принципом организации такого общества, его центральным механизмом регуляции — свободным рынком.

⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2. Т. 4. С. 427.

Чтобы понять, как это непрерывное обновление и нестабильность сказываются на структуре организации, определяющей ее тип, надо иметь понятие структуры и хотя бы кратко объяснить принципы его формирования в теориях организации. Кстати, они тесно связаны с принципами классической социологии. Воспользуемся «генетическим» способом изложения.

В процессе удовлетворения общественных потребностей люди сотрудничают, следствием чего оказывается дифференциация задач и специализация в их исполнении между отдельными лицами и социальными группами. Специализация делает необходимым обмен благами и услугами. Разделение труда позволяет лучше удовлетворять общественные потребности, но одновременно порождает новые, удовлетворение которых требует дальнейшего углубления разделения труда. Чем сложнее оно, тем больше растет значение в его координации формальных организаций, образующих целостные комплексы из дифференцированных и специализированных ролей. С общественными потребностями и со всякой более широкой общественной системой организацию связывают ее цели. С точки зрения этой более широкой системы, цели организации суть функции, реализуемые ею в пользу окружения. «Рациональность организации» характеризует правильность и эффективность реализации ею предполагаемых целей, то есть способ, каким организация удовлетворяет известные общественные потребности. Такая реализация требует взаимодействия множества специализированных функций (отраслей, отделов, индивидуальных ролей и т.п.). Между этими функциями возникают специфические связи, которые, в основном, удается свести к отношениям подчинения и взаимности. Первый тип отношений дает вертикальную дифференциацию (иерархию), второй — горизонтальную дифференциацию, охватывая контакты между «равными». Эти два измерения организационных связей в целом определяют структуру организации. Проблема рациональности организации ставится в контексте трех взаимозависимых групп факторов: ее целей, структуры и среды (окружения). Тогда эту проблему можно сформулировать как вопрос о том, насколько эффективно данный тип структуры организации реализует свои цели в данных условиях среды.

М. Вебер описал свойства бюрократической рациональности, обеспечивающей повышение рациональности организаций по сравнению с их предшествующими историческими типами. Вертикальную бюрократическую структуру составляют позиции, подчиненные безличному правовому порядку, направленному на реализацию данной цели. Именно то, что все поведение членов бюрократической организации определено безличными правовыми нормами, исключает произвольность решений и обеспечивает непрерывность функционирования организации. По отношению к отдельному лицу организационная иерархия, в которой низшие позиции подчинены вышестоящим, образует систему уровней карьеры, открытую для каждого, кто исполняет ее формальные требования. Поэтому иерархия есть также средства достижения дисциплины и контроля над индивидуальным поведением в организации. В бюрократической организации профессиональная сфера отделена от частной жизни, благодаря тому, что чиновники лишены собственности на средства управления и являются наемными работниками, то есть будучи лично свободными, подчинены организации только в сфере, определенной добровольным трудовым соглашением и формальными предписаниями, связанными с их позицией в иерархии. Предполагается, что в идеале основой отбора кандидатов и назначения чиновников в бюрократической организации служит исключительно формальная профессиональная квалификация.

Но бюрократическая рациональность исторически ограничена. Теоретики организации очень скоро стали сомневаться в безотносительной рациональности организации, удовлетворяющей условиям веберовского идеального типа бюрократии. Так, Т. Парсонс во введении к американскому изданию работ М. Вебера развил тезис, выдвинутый в 30-х годах, что его описание этого типа содержит два подмножества противоречивых элементов: бюрократических и профессиональных. В такой организации

действуют две разные противоречащие друг другу основы легитимации власти. Власть, опирающаяся на техническое знание, и власть, вытекающая из позиции в бюрократической иерархии, на самом деле не дополняют друг друга, но конфликтуют, становятся альтернативными вариантами. Следование рекомендациям эксперта опирается на признание высшего уровня его знаний и квалификации — это добровольное повиновение. Бюрократическая власть основана на праве отдавать приказания, приписанные данной позиции в иерархии.

К бюрократическому типу организации более всего приближаются так называемые «механические» организации — относительно однородные по занятиям, с простой структурой целей, рутинными задачами, функционирующие в достаточно однородной среде. Большинство зарубежных авторов утверждают, что эти условия, а потому и такой тип организации в современном обществе постепенно исчезают и в будущем могут быть полностью вытеснены высокосложными организациями, в которых все большую роль будут играть профессионалы. Профессионализация определяет одно из главных направлений эволюции рациональности организаций в развитом рыночном обществе, определяет один из важнейших признаков его «современности». Рост сложности среды, в которой действуют организации, ставит под вопрос рациональность организации бюрократического типа. Эволюционная трактовка среды как важнейшей из независимых переменных, определяющих структуру организации, и рассмотрение отношений организации к среде как взаимодействия систем сопоставимых уровней сложности многим обязаны, кроме М. Вебера, таким классикам социологии, изучавшим макропроцессы разделения труда, как Г. Спенсер и Э. Дюркгейм. Их интуиции по этой части превращаются в теориях организации в формальные обобщения, помогающие оценить способность организации адаптироваться в неизвестной среде к новым условиям и через это продвинутость организации в направлении «современности». Можно привести отдельные примеры этих формальных признаков приближения к современности.

1. Чем больше взаимозависимость между отдельными элементами процесса труда (функциями), тем в большей степени разделение труда становится самостоятельным механизмом координации в организации. По мере роста специализации горизонтальные контакты замещают иерархию как главную основу координации. Рост общественного разделения труда увеличивает взаимозависимость внутри организации и создает необходимость координации через обратную связь и информацию. Это признак современности организации. Упор же на различия статусов в иерархии создает тенденцию к продолжению работы по раз принятой программе. И это отражает тяготение к более традиционной структуре организации.

2. Чем более разнородные цели реализует организация и чем сильнее ее связь с внешней средой, тем более рассеяна структура власти. Чем сложнее структура организации, тем больше рассеяние власти в организации, то есть тем сильнее тенденция к передаче полномочий решения на другие уровни; появляется сильная отрицательная корреляция между степенью использования знаний в организации и централизацией и формализацией решений.

3. Чем больше сложность целей и структуры задач организации, тем больше ее способность к нововведениям; и т.д.

Все это подтверждает, что эволюционная установка классической социологии на рассмотрение функционирования социальных систем в связи с их средой действует в теории организаций в полную силу и ничуть не отошла в прошлое. Как уже говорилось, со средой организацию связывают ее цели и структура задач, а это в свою очередь определяет характер и степень разделения труда в организации. Сложность целей зависит от сложности окружения организации. Рост разделения труда в ней есть тоже ответ на растущую сложность и изменчивость окружения, что порождает значительную неопределенность для организации. Простой рост величины организации тоже ведет к росту разделения труда в ней и связанных с этим трудностей координации (одна из ведущих идей Спенсера и Дюркгейма).

Поэтому по мере роста сложности организации растет значение функций, обеспечивающих сбор и преобразование информации, то есть подготовку организационных решений, растет значение предвидения и планирования будущих действий. Рациональность организации, действующей в условиях неопределенности, зависит не так от того, насколько правильно решает она свои текущие проблемы, как от того, насколько верно она решает эти проблемы с точки зрения будущих состояний среды. Сложности координации стимулируют изобретательность решений. Чем больше сложность целей организации, тем больше внутренняя разнородность и тенденция к новациям. Но эффективное использование внутренней разнородности возможно только в рамках особых организационных структур, где отношения между индивидами и группами опираются на демократические принципы. Потребность в координации задач в масштабе всей организации для достижения конечного результата требует интеграции дифференцированных действий. Условием эффективности организации оказывается не только приспособление к требованиям среды, но и установка ее верхних этажей на решение проблем, а не на борьбу за привилегии и статус в организации.

Прямое влияние типологий Дюркгейма явно чувствуется в известной, и поныне бесполезной классификации уровней внутренней самоорганизации систем Эриха Янча⁷, в основе которой тоже лежит учет связи между структурой организации и средой. Первый уровень — механистическая система — не способна к изменениям своей внутренней организации. Ее поведение однозначно детерминировано состоянием «входов» системы (если воспользоваться языком кибернетики). Второй уровень — адаптивная (приблизительно тождественна «открытой естественной») система — приспосабливается к внешним изменениям через изменения своей внутренней организации. Третий уровень — органическая, творческая, новаторская и т.п. система способна к изменению своей внутренней организации соответственно активным целенаправленным изменениям среды. Идеальные типы механической и органической организаций рассматриваются в эмпирических исследованиях не как взаимоисключающие альтернативы, а лишь как две крайние точки континуума возможных моделей организации. Этими исследователями подтверждено, что органический тип чаще проявляется в нестабильных условиях, механический преобладает в относительно постоянной среде. По данным конкретной истории организаций одна и та же организация в разное время может приближаться то к одному, то к другому типу. В отдельных частях организации также варьируется тот или иной тип.

Если организация тесно связана со своей средой, то в конечном счете от последней зависит, будут ли в ней преобладать творческие, адаптивные или механистические решения. Если же организация господствует над средой, ее структуру в большей степени определяет результат внутренних столкновений власти и частных интересов. Однако когда организация целиком находится под влиянием среды, это отражается на ней упадком эффективности действия. Слишком сильный контроль внешних факторов над организацией тоже не позволяет ей развивать внутреннюю структуру в соответствии с требованиями рационального действия. Но вообще, чем больше (в известных границах) давление социального окружения организации, тем рациональнее основы, на которые опирается организационная структура, тем объективнее предпосылки принятия решений, тем меньше расхождение между реализованными и предполагаемыми целями.

Таким образом, структура организации в каждый данный момент оказывается результатом компромисса между объективными требованиями, выполнение которых обеспечивает реализацию целей организации, и давлениями на нее со стороны групп, занимающих в соответствии со сложившимся укладом сил и привилегий положение в обществе, позволяющее контролировать организацию. С точки зрения принятия решений, первая категория требований формирует внутренне-целевые критерии действия, связанные с технико-экономическими условиями реализации целей организации. Эти критерии устанавливают порог рациональности действия (ниже которого появляется угроза

⁷ Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. М., 1970.

существованию организации), ограничивая произвол внутриорганизационного распределения социальных благ и ценностей. Вторая категория требований формирует внешние критерии действия, более или менее соответствующие ожиданиям контролирующей организацию социальных групп. То есть внешние критерии действия и направление организационных решений отражают идеологические ценности и ограничения, связанные с классовым делением и стратификацией общества, системой власти в нем. Между внутренними и внешними критериями действия в современных организациях обычно существует противоречие, так как система власти создает тенденцию к консервации и инерции в общественном укладе, а внутренняя рациональность организации постоянно сообразуется с изменениями в условиях реализации целей организации и стремится подчинить внутренне-целевым критериям все общественное развитие.

Если структура организации сильно зависит от внешней к ней классово-слоевой структуры, то говорят о высокой «социальной включенности» организации. Под этим теоретики организации подразумевают «институционализацию участия и мотивации на базе ожиданий и обязанностей, существующих независимо от организации в общественной среде»⁸. Такая ситуация характерна для традиционных кастовых и сословных обществ, где «организационные решения» (о которых, конечно, можно говорить только в некотором условном смысле) почти полностью определены культурной традицией, неотделимой от существующего общественного порядка. Это и приводит к огромной стабильности традиционного общественного уклада. В современных обществах аналогичную традиционной зависимости исполняет зависимость организации от внешнего к ней административного уклада. Господство внешних критериев действия ограничивает автономию организации и сильно снижает ее рациональность. Оно тормозит быстроту общественных изменений.

Противоположная ситуация однонаправленной подчиненности системы власти и привилегий в обществе «организационным решениям», полностью обусловленным технологическими условиями реализации целей, встречается среди примитивных сообществ с очень низким развитием общественного разделения труда, вся деятельность которых направлена лишь на поддержание жизни. При существовании на грани выживания принятие каких-то внешних к непосредственным требованиям среды и потребностям момента критериев действия грозило бы гибелью всему сообществу.

В современных индустриальных обществах встречаются разные случаи взаимоприспособления организационных и общественных (классовых и пр.) структур, каждый раз требующие конкретного анализа.

Внутренне-целевые критерии действия порождают тенденцию к конвергенции, универсализации организационных решений: организации, действующие в одинаковых технико-экономических условиях, будут иметь подобную в каких-то отношениях структуру. Напротив, давление внешних критериев способствует культурной дивергенции и «партикуляризму» организационных структур.

В обществах с сильной социально-классовой дифференциацией формой рационального поведения общественных групп оказывается их стремление к максимизации своего частного интереса. Но эта тенденция противоречит логике действия организаций органического типа, для которых по определению предполагается, что дифференциация власти и престижа в них опирается на принцип профессиональной компетенции и личные достоинства и, следовательно, подвижна, а контакты между людьми свободны и не формализованы. Предполагаемый важный мотив действий в такой организации — потребность признания со стороны профессиональной среды, рационально сообразующейся с общими целями организации и через них ориентированных на общезначимые ценности. Однако организация с подобной «органичной и творческой» направленностью сплошь и рядом действует в среде, в которой сильны иерархические связи, формальные символы

⁸ Kamiński A. Wbadza a racjonalność. W-wa: PWN, 1976. S. 75.

статуса и престижа более важны, чем скрытое за ними реальное содержание, законы индивидуальной карьеры подчиняются этим формальным критериям, и права в итоге распределяются далеко не по принципу профессиональной компетенции. В такой обстановке функционируют, например, научные организации в обществах, ориентированных на достижение личного успеха любой ценой.

Расхождение между экономической и общесоциальной рациональностями в плане функционирования общества в целом составляет постоянно действующее противоречие современного капитализма⁹. Эволюция структур капиталистических хозяйственных организаций и промышленных предприятий обнаруживает быстрый подъем их технико-экономической рациональности. Некоторые из этих организаций решили проблему непрерывности нововведений. Ни в какой другой сфере общественной деятельности не используется так полно и эффективно научное знание. Современная децентрализованная разветвленная корпорация характеризуется богатством разных форм организации. Там, где это полезно, в ней преобладают новаторские решения. Децентрализация решений здесь означает, что решающие полномочия передаются на тот уровень, где имеется больше информации по данной проблеме. Структура организации складывается из ряда относительно автономных уровней, на которых принимаются решения, разнящиеся по степени общности. Решения, принимаемые на высшем уровне, имеют наиболее общий характер, наибольший временной диапазон и охватывают всю организацию. Новаторские организационные решения являются ответом на сложность и неопределенность общественного окружения организации.

Гипертрофированное развитие технической, «инструментальной» рациональности в экономической деятельности и хозяйственных организациях по сравнению с организациями в других областях социальной жизни отражает двойное противоречие в развитии общества капиталистического типа в ходе его многосторонней модернизации.

С одной стороны, развитие общественного разделения труда идет путем создания автономных организационных сфер с особыми подкультурами. Это вызвано тем, что поддержание способности организационных структур к рациональному изменению, к нововведениям при известном сопротивлении общесоциальной среды требует значительной автономии в рамках общественной системы как целого отдельных сфер деятельности, которые эти организации представляют. Такие организации склонны создавать собственный культурный этос (например, культ «объективной истины» в научных организациях) и, таким образом, превращаться в подобие социальных институтов.

С другой стороны, сама эта автономизация, прежде всего хозяйственной жизни порождает ряд «социальных издержек», вызванных чрезмерностью социального разнообразия, вытекающими из него трудностями координации и «функциональной разделенностью» реальной власти и ответственности. В глобальной организации современного общества капиталистического типа нет автоматического и безотказного регулирующего механизма, который делал бы возможным постоянное и эффективное согласование интересов экономической подсистемы и общества в целом. Рост политической и социальной рациональности явно отстает от экономической. «Рост сложности современных обществ в сравнении с раннекапиталистическими, — указывает Каминьский, — вызвал лишь количественные изменения в государственной администрации, то есть увеличение размеров административного аппарата и специализации отдельных его частей. Но трудно найти какие-либо качественные изменения в организации государственной администрации. Такие изменения произошли в первую очередь в рамках больших предприятий и особенно многоотраслевых корпораций, тогда как рост централизации политической власти и государственного аппарата не повлекли за собой существенных изменений в типе организаций»¹⁰.

⁹ Анализу этого противоречия посвящена почти вся указанная в предыдущей сноске книга А. Каминьского.

¹⁰ *Kamiński A. Wbadza a racjonalność. W-wa: PWN, 1976. S. 119.*

Перевес экономической рациональности — и проявление глубоких противоречий капиталистической системы, и, в известной мере, функциональное явление для ее самосохранения. Для оценки перспектив развития обществ капиталистического типа (то есть обществ первичной модернизации или высокомодернизованных обществ) первостепенную важность имеет ответ на вопрос, в состоянии ли такое общество современного типа, не изменяя свои институциональные основы, согласовать экономическую рациональность с глобальными общественными интересами. Разрешение этого вопроса требует рассмотрения взаимоотношений между главными институциональными укладами, лежавшими в истоках развития современных капиталистических обществ, в первую очередь между свободным рынком, государственной бюрократией и парламентской демократией. Отношения между ними в большой степени определяли характер развития этих обществ. Но таких исторических исследований глобального развития с точки зрения теории организации почти нет. Эти исследования, в основном, ограничивались областью чисто экономической рациональности, которую и теоретики организации и теоретики модернизации молчаливо и тенденциозно считают основным критерием «современности» общества, мерилom его продвижения по пути «модернизации».

И хотя основной пафос этого обзора довольно старых и общеизвестных идей классических теорий организации — в призыве использовать для характеристики уровня модернизации общества чисто количественную оценку веса и распространенности в этом обществе организаций органического типа, которых больше всего именно в экономической сфере, все-таки следует опасаться сквозного, универсального применения этого критерия к изменениям социальных институтов всех видов. Даже у М. Вебера с его прославленной исторической интуицией противопоставление современного рационального экономического поведения традиционному экономическому поведению часто означало преувеличение функциональной связанности политического и экономического развития, как следствие — невольную редукцию политических интересов к экономическим, линейную трактовку развития и обеднение разнообразия условий и альтернатив общественного развития. В конце концов, характер современных политических систем развитых западных стран можно объяснить инерцией и формирующим эффектом традиционных для них идеологий (учение Локка и Монтескье о разделении властей без сомнения было главной причиной попыток реальной организации этого разделения), а не функциональными взаимосвязями экономического и политического развития и соответствующими требованиями первого ко второму. Чаще всего предпочтительным и определяющим при столкновении с насущными ценностями модернизации оказывается сохранение минимального консенсуса на микросоциологическом уровне, достигаемого, в основном, на базе традиционных ценностей. Эти же традиционные ценности, видимо, приводят к тому, что «современные» (модерные) структуры в незападных обществах, заимствованные с Запада, имеют последствия, как правило, непредвиденные и непредсказуемые с западной точки зрения и совершенно отличные от исторических последствий введения этих структур в парадигмальных западных обществах. Дело в том, что эти новые структуры в подражательно модернизирующихся странах должны служить совершенно другим целям (в частности обслуживать только те уродливо выбранные характеристики жизни на Западе, которые устраивают и удовлетворяют потребности лидеров этих стран), вынуждены находить и черпать ресурсы для деятельности из совершенно непохожей на западную социальной и физической среды и т.д.

Все эти ограничительные условия и оговорки свидетельствуют, что к высказанным скромным соображениям о возможном прибавлении в семействе операциональных критериев модернизации не следует относиться слишком серьезно и бездумно.

РЕТРОСПЕКТИВА

«Война спровоцировала всякие запросы о жизни»¹

Интервью с Галиной Михайловной Андреевой. Записали М.Г.Пугачева и С.Ф.Ярмолук²

– Галина Михайловна, ваше имя сейчас прочно связано с социальной психологией, психологическим факультетом МГУ. Но известно, что эта область знания открывалась для вас именно в 60-е–70-е годы – через социологию. Как это было?

– Честно говоря, я не люблю жанр мемуаров и воспоминаний. Считаю, что все равно никто не говорит истину, все приукрашивают. Каждый хочет построить некий свой образ – это я говорю как психолог, и уж над этим образом работают кто как может. И тогда это не имеет никакого значения для «истории». Имеет значение для психологии, чтобы изучить, что человек хочет построить из себя на самом деле.

– В этом, пожалуй, с вами можно согласиться. Но есть ведь и свой угол зрения, характерные детали, личная приобщенность, восстанавливающие такие аспекты истории, которые ни в каких официальных источниках не вычитаешь. Начнем с биографии?

– Родилась я в Казани. Отец был врачом, мать – студенткой медицинского факультета. Отец потом стал профессором кафедры медпсихиатрии в Казанском медицинском институте, заведовал ею 35 лет, а мать была невропатолог, так что семья у нас сугубо медицинская, да еще с невропатолого-психиатрическим уклоном. От отца шла какая-то сильная струя воздействия, даже в его психологических, философских суждениях. У него было классическое гимназическое образование, вместе с тем, будучи врачом, он представлял демократическую интеллигенцию, все время ездил по каким-то районам республики, оказывал практическую помощь врачам – в гуманитарной традиции сильно проявлялась склонность быть включенным в жизнь.

Я окончила школу в 1941 году, получила аттестат за четыре дня до начала войны. Отец улетел в Ленинград, и я с ним послала документы на физический факультет ЛГУ. Почему на физический? Старший двоюродный брат, воспитывавшийся в нашей семье, был геофизик, он оказал очень сильное влияние. И хотелось переломить себя: училась я на «отлично», но испытывала напряжение при изучении точных наук, вся же гуманитария шла легко, а раз легко, зачем и учиться, лучше пойти на физфак (с «золотым» аттестатом я могла поступать без экзаменов). Отец успел подать документы 20 июня и прислал мне телеграмму. Мы все должны были ехать в Ленинград, там жили родственники, но началась война, и все поломалось. Шесть девочек из нашего класса в начале июля подали заявления о добровольном уходе в армию. В августе пришли повестки – нас принимали на курсы радиотелеграфистов №7 от Народного комиссариата обороны. Всех погрузили на корабль и повезли по Волге, потом по Каме в Елабугу. Интересно, что к кораблю прицепили баржу с первыми пленными немцами. Приехали мы в Елабугу в тот день (как я потом выяснила), когда там покончила жизнь самоубийством Марина Цветаева. Поучились на курсах радистов, и 7-го ноября нас отправили на фронт. Родители мои работали в госпитале, отец стал полковником медицинской службы в тылу, мама – капитаном медицинской службы.

¹ Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ грант №02-03-18140а.

² Интервью было записано для книги «Российская социология 60-х годов в воспоминаниях и документах», однако, по ряду причин в нее не вошло. Подробности того, о чем говорит автор в тексте, можно найти в этой книге, вышедшей в 1999 году в издательстве Российского Гуманитарного Христианского Университета Санкт-Петербурга. Фонограмма интервью хранится в Историко-социологическом архиве Института социологии РАН.

© Центр Фундаментальной социологии, 2002г.

© Пугачева М.Г., Ярмолук С.Ф., 2002г.

Она как-то сумела приехать из Казани, шла с нами 78 километров, когда нас вели, потому что плыть паромом было уже нельзя – Кама встала...

Всю войну я была на фронте, сначала радисткой, потом старшим радистом, потом, поскольку считалась образованным человеком (все-таки 10 классов), назначили начальником радиостанции. У меня в подчинении было одиннадцать парней, все примерно мои одноклассники. Закончила я войну в 45-м году в Латвии – сначала это был 2-ой Прибалтийский, потом – Ленинградский фронт.

Во время войны мне встретились два человека, которые учились в тогдашнем ИФЛИ, один – на историческом факультете, второй – на филологическом. Они мне рассказали об этом институте (война что ли спровоцировала на всякие запросы о жизни?), советовали поступать на философский факультет, который, кажется, передали МГУ. Я ничего этого не знала. Весной 45-го написала письмо ректору, спрашивая, есть ли в МГУ такой факультет, поскольку было разъяснение, что если люди вернулись с фронта и имеют аттестат с золотым обрезом (эквивалент золотой медали), то за ними сохраняется право поступления в вуз без экзаменов. Из университета ответили, чтобы я приезжала. И я приехала. Сначала поступила на психологическое отделение, потом в середине первого же семестра перевелась на философское. Очень странные были мотивы: во-первых, о психологии знала от отца, а философия была чем-то неизвестным, казалась интереснее, и, во-вторых, на философском отделении была математика, на психологическом ее не было. (Сейчас все наоборот, основной вступительный экзамен на психологическом – по математике).

– *После такого перерыва не трудно было учиться?*

– Нет, была абсолютная одержимость. Причем, и во все годы войны. Меня как-то раз контузило, я некоторое время была без сознания, еще на меня наехала машина, в нее же меня втащили, я говорю: «Позовите Толю Наумова». Он был радистом из нашего круга, закончил первый курс Энергетического института. Мы с этим Толей, когда проходили мимо разрушенных школ, всегда подбирали учебники по математике, чтобы проверить, забыли все или нет. «Зачем тебе Толя?», – спрашивают. «Он мне даст квадратное уравнение, и я проверю себя – решу его или совсем с головой плохо». Толя дал мне уравнение, я его решила, а народ вокруг стоит простой, думают, что мы сходим с ума.

Так что очень сильная была мотивация. На курсе – половина фронтовиков, некоторым было очень трудно, а некоторые как-то очень сильно взялись. Мне все было очень интересно, училась со вкусом. Окончила факультет в 50-м году, была рекомендована в аспирантуру, все еще пока по философским специальностям. Распределилась на кафедру «Истории русской философии», защитилась по русской философии, а работать сразу же стала на кафедре исторического материализма, которая возникла к тому времени (это был 53-й год). Сначала это была традиционная работа – курс исторического материализма для студентов. Спустя несколько лет (не помню точно, сколько) я стала читать много всякой литературы, появилась статья Арбатова об американской эмпирической социологии. Меня это заинтересовало, я стала потихоньку ориентироваться в литературе; иностранных книг почти не было, но начали появляться переводы. В общем, я стала смотреть как-то в эту сторону. Не очень точно помню, как это распределялось по годам, но уже в 59-м, на факультет приехала делегация работников философского факультета Варшавского университета, среди которых было два социолога. В частных беседах с ними выяснилось, что социология меня не только интересует, но я уже что-то знаю. В 60-м году, когда мы, в свою очередь, поехали в Польшу, я была включена в делегацию от нашего факультета в качестве социолога, была там гостем кафедры социологии, даже сделала какой-то доклад – к этому времени мы пытались у них проводить некие «рукодельные» исследования.

Появился на факультете профессор Зворыкин, который тоже только начал заниматься социологией. Он предложил мне провести исследование на заводе «Шарикоподшипник», и здесь мы напрямую столкнулись с проблемами методики. В частности, в моей команде в качестве интервьюеров работали студенты, и был итальянец (у нас тогда учились итальянские коммунисты), который что-то уже слышал у себя про социологию и попросился

к нам. В анкете был вопрос: «Какие операции физического труда вам приходится выполнять за рабочую смену?». А потом вопрос: «Какие операции умственного труда вам приходится выполнять за рабочую смену?» Один рабочий ему ответил, что ни тех, ни других не приходится выполнять. Итальянец с полным недоумением пришел и говорит, что я, наверное, плохо понимаю по-русски... Конечно, эти опросники были составлены очень примитивно.

– *Галина Михайловна, в то время вы в какой-то степени сотрудничали с группой Осипова?*

– Тогда, по-моему, нет, несколько позже. В 60-м, будучи в Польше, я наговорила, книжки какие-то социологические мне там подарили. В 61-ом я стала более-менее ориентироваться в этой проблематике, настолько, что когда в 62-м формировалась делегация на V Всемирный социологический конгресс, я туда попала. Это было очень странно (я же работала не в академической системе, а в университете, системе Минвуза). Правда, кафедрой истмата заведовал Чесноков, очень влиятельный в тех кругах, наверное, это сыграло роль, думаю, он меня и рекомендовал.

Делегация в основном состояла из мэтров-философов, но было несколько человек уже из нашего поколения. В нее вошел Вадим Семенов, он ехал в качестве официального переводчика главы делегации Константинова, туда попал Замошкин, который из Института международных отношений заявил о своем социологическом интересе, был включен в делегацию Араб-оглы, работавший в то время в Праге, в журнале «Проблемы мира и социализма», относительно молодым считался Дмитрий Ермоленко, который, будучи, кажется, в МГИМО, в то же время кого-то консультировал в МИДе. На Конгрессе мы встретились с международными мэтрами социологии, у меня к ним были различные невероятные вопросы, они стали активно со мной общаться. Мы жили в одном отеле, в том же отеле шли все заседания, поэтому Мертон и Лазарсфельд дважды назначали мне разговор за завтраком в ресторане. Я объявляла об этом своей соседке (а соседкой была Клавдия Васильевна Кузнецова из отдела науки ЦК КПСС), она очень настороженно смотрела на эти приглашения и на сборе делегации говорила: «А вот некоторые решают свои бытовые проблемы, ходят завтракать с буржуазными социологами». Я ей отвечала, что в этом нет ничего страшного, потому что, завтракая с буржуазными социологами, я им наношу некоторый материальный ущерб, так что с идеологической точки зрения все в порядке.

На конгрессе обсуждались проблемы элит, я делала доклад на тему: «Элита ли у нас интеллигенция?» Нас пригласили затем в Нью-Йорк, мы посетили Колумбийский университет, кафедру социологии. Была масса проблем с языком, потому что старшие наши товарищи иностранным, как правило, не владели, Вадима Семенова на всех не хватало. Слушать выступления и так было трудно (не было еще никакой языковой практики, да к тому же американский вариант английского отличается от того, что мы учили), а тебя постоянно какой-нибудь Вася пихает в бок: «Что он сказал?»

В Нью-Йорке мой друг (к сожалению, сейчас погибший), сотрудник АПН Николай Васильевич Дьяконов предложил показать квартал, где тогда начинались «битники». Мы уехали на ночь в этот Гринвич-Вилладж, там впервые увидели стриптиз, правда, без меня, потому что если идти с дамой, то платить пришлось бы 10 долларов, а без дамы – 60 центов. Мои джентльмены замялись, и я осталась в машине (было довольно страшно). Вернулись в отель, а старшие наши коллеги сидят у Константинова, пьют водку и ругают молодежь. Потом они говорили: «Подумаешь, выучили язык и думают, что они уже социологи».

Тут и начались всевозможные контакты. У меня есть несколько писем от Лазарсфельда, от Мертона. Мертон написал книжку, где есть что-то про мое исследование. Мы стали «записными» социологами. Тем временем потихоньку раскручивалась социология в Ленинграде, на каком-то этапе впервые сюда приехали Рожин (их декан), Ядов и Здравомыслов. С ними я познакомилась на конференции в Ленинграде, и у нас сразу сложились дружеские отношения. Потом выяснилось, что уже существует «социологический подвал» Осипова, я стала ходить туда. В 63-м году я начала писать книгу «Современная

буржуазная эмпирическая социология». Пока я ее писала, издавала (она поспела к 65-му году), защищала по ней диссертацию «Методология и проблемы эмпирического исследования в социологии» – стало уже абсолютно ясно, что внутри кафедры истмата у нас на факультете обозначилось социологическое направление.

Очень интересную позицию занимал Дмитрий Иванович Чесноков – абсолютно ортодоксальный «истматчик», ответственный работник ЦК КПСС. Я думаю, он все-таки был человек неглупый и понимал, что происходит в мире. Доказательством этого является то, что он написал послесловие к переводу книги Г.Беккера и А.Боскова «Современная социологическая теория» – она издана в 1961 году. Конечно, оно было крайне критичным, с позиции ортодоксального марксизма – он их всех ругал, но и обсуждал какие-то социологические проблемы. Он стал говорить, что социология нам нужна, только не такая, как у них, а другая. При всех своеобразных ролях, которые он сыграл, он потворствовал тому, что на нашей кафедре я эту социологию двигала, помогал проводить исследования, относился к ним чуть-чуть скептически, но никогда не было с его стороны каких-либо запретов, идеологического нажима. Он был убежден: нам нужна марксистская социология, а марксистскую – пожалуйста, двигайте.

Вообще тогда было обозначено, что есть старая гвардия, которая очень хорошо подготовлена, крепка идеологически, и есть молодое поколение, которое что-то знает про социологию, знает язык, но еще надо посмотреть. Это было с самого начала.

– *А сейчас этого нет?*

– А я не знаю, как сейчас в социологии, у психологов же все совсем по-другому. Еще до защиты докторской диссертации, будучи на кафедре истмата, я начала читать курс по методике для философов, но после защиты никто иной как Чесноков (это очень странно, но очень важно для истории) первым заговорил, что надо выделяться и создавать самостоятельную кафедру, потому что вы, мол, говорите не про то, про что мы тут все говорим. Я не была посвящена в технологию, это в министерстве или в ЦК, наверное, спорили, как ту кафедру назвать. В конце концов сказали, что все согласны, если она будет называться «Методики конкретных социологических (в дальнейшем – социальных) исследований». Подготовку начали где-то после 66-го года (я тогда вернулась из Франции, и Чесноков требовал от меня какие-то необходимые бумаги), в 68-м кафедра была создана. Нам выделили маленькую комнатку в старом здании философского факультета, я была утверждена заведующей. Вначале на кафедре было три человека, кроме меня – Лариса Андреевна Петровская, которая к этому времени защитила диссертацию, Александр Федорович Куприян, логик, но пришел к нам, потому что его интересовали проблемы, скажем, логико-социального эксперимента, и Владимир Иванович Добреньков, нынешний декан социологического факультета, а тогда аспирант, защищавший диссертацию по Фромму и считавший, что он тоже социолог. Кафедра стала сразу очень популярной, стали подбираться студенты.

– *Студенты охотно шли к вам?*

– У нас специализация заключалась в том, что три года все учились вместе, а на четвертом студенты расходились по кафедрам, формировались специализированные группы. В числе первых к нам пришли Людмила Семенова, Леонид Ионин, Миша Комаров (сейчас он в Ярославле, доктор наук). Много народу прошло через эту кафедру. У нас были курсы по статистике (читал Шляпентох), по социологии труда (Зворыкин), социологии молодежи (Шубкин), истории социологии (Петровская), освоили курс социальной психологии. В общем, стала кафедра как кафедра, и так мы существовали до 71-го года.

Все шло очень хорошо, и вдруг, когда деканом стал М.Ф.Овсянников, зачастили всякие комиссии. На ученом совете все эти комиссии высказались, совершенно нас изничтожив: у нас абсолютно неправильная идеологическая ориентация, мы протаскиваем буржуазную социологию и т.д. К сожалению, я сейчас не могу найти один документ, его бы я опубликовала. Было подготовлено письмо в отдел науки ЦК КПСС, подписанное профессором Козловым и доцентом Туруком, с разгромом и моей книжки и вообще всего

того, что делалось на кафедре. Разнос был совершенно безграмотный. Например, там были такие фразы: «Она пропагандирует буржуазный метод шкалограммного анализа». А надо было использовать метод, разработанный этим Туруком (не помню, как он называется), потому что это наш марксистский метод, а шкалограммный анализ – исключительно буржуазный, нам его не надо. В общем, был весьма неприятный для меня ученый совет, и самое грустное – буквально единицы там выступили в нашу защиту, сказали, что кафедра прекрасная. К таковым относились Василий Васильевич Соколов, тогдашний заведующий кафедрой истории философии, мой бывший сокурсник Дмитрий Угринович. А остальные стеснительно молчали или продолжали говорить, что вот и министерство недовольно, и замминистра Мохов говорит, что, мол, это такое на факультете развели.

Я тогда сказала: «Раз так, не хочу оставаться тут, потому что по-другому работать не могу». Написала в ректорат заявление об уходе с кафедры. Меня вызвал ректор – это был Иван Георгиевич Петровский, наш старый академик-математик. Он сказал: «Сейчас я не имею возможности вникать в этот конфликт, но при всех обстоятельствах, пока я ректор, вы будете работать в университете и никуда отсюда не уйдете. Я понимаю, что вам некомфортно и могу пойти навстречу. Декана факультета психологии Леонтьева все время ругают, почему нет социальной психологии в МГУ, когда она есть в ЛГУ. А Леонтьев говорит, что не может найти заведующего. Он давно ко мне ходит и предлагает: давайте Галину Михайловну уговорим, тогда бы мы организовали кафедру. Это тот самый случай, когда я помогу и вам и Леонтьеву».

– *А вы уже сотрудничали с психологическим факультетом?*

– Он отделился от философского в 66-ом году, и я у них сразу стала читать спецкурс. Вот так в 71-ом году я перешла на факультет психологии. Ровно через год была создана кафедра, ко мне перешла Петровская, мы «добрали» остальных людей, и началась новая эпопея. Параллельно с этим развивались отношения с академической социологией, сектором Осипова. Тогда, например, очень модны были всякие симпозиумы. Мы ездили в Кярярику, Сухуми, часто встречались с коллегами в Ленинграде, Москве. Стало складываться межинституциональное социологическое братство, вначале единое, потом – очень быстро – обозначились разные позиции. Мой референтный круг был в Ленинграде, я все время ориентировалась на ленинградских социологов. Хотя здесь, в Москве, я фактически была включена во все социологические структуры, но с Ядовым сложились наиболее тесные контакты. Надо сказать, «дух» тогда был отличный, особенно, если принять во внимание, что это 60-е годы – время «оттепели». Все были одержимы, работая, как мы считали, на самом прогрессивном направлении в науке. Все время обсуждалось, что вот теперь, наконец-то, можно исследовать факты, а не «налеплять» их на нашу действительность. Поэтому и в официальных кругах сразу возникло мнение, что вся эта социологическая среда – нечто вольнодумствующее. Не потому, что мы не произносили каких-то нужных идеологических слов по поводу буржуазной социологии. Все произносили эти слова – правда, делать это можно по-разному, в более стертном виде или в более откровенном (меня, скажем, критиковали за мою книжку; профессор Фомина говорила: «Неплохая книжка, но все-таки ты недостаточно дала там партийную оценку буржуазной идеологии»). Главное же опасение было в том, что добывание реальных фактов социальной жизни – вообще сомнительный способ анализа, потому что он вроде бы объективно может превращаться в «очернительство». Все время говорилось, что «эти социологии» накапывают какие-то негативные факты (неважно, что это факты жизни). Поэтому было настороженное отношение, без конца шли дискуссии о специфике марксистской социологии (книжек на эту тему немало). Чтоб не обижать истмат, мы продумали схему: истмат это – общесоциологическая теория марксизма, а уж там дальше идет социология. Это, несомненно, была дань времени. По-видимому, только в такой форме можно было тогда отпочковываться. Но насколько глубоко «засела» та схема – у всех получилось по-разному. Некоторые до сих пор считают, что социология должна служить определенной идеологии и ее представителям. Социологи вам расскажут, как уже в 90-м году раскалывался Институт

социологии, как там заседали партбюро и делило, кто уходит к Осипову, а кто не уходит; и прослеживалась такая мысль: линия Осипова – что «социология должна служить Коммунистической партии», а линия Ядова – что она должна служить не партии, а истине. Это как-то осталось.

Тем не менее назад уже никакого хода не было, и социология стала бурно развиваться. К сожалению, после того, как я перешла на психологический факультет, обозначился мой разрыв с социологическим направлением в университете. Я совершенно не знаю, что представляет из себя социологический факультет и что там происходит. Я гораздо лучше знаю, что происходит в Институте социологии, там я член Ученого совета, участвую в работе колледжа, вообще как-то бываю. А у социологов в МГУ ни разу не была, абсолютно ни с кем ничего не обсуждала.

– *Галина Михайловна, а в какой мере ваше новое амплуа вообрало то, что было накоплено? Или все надо было начинать заново?*

– В социальной психологии? Конечно, на прежней базе. Есть две версии современной социальной психологии – так называемые «психологическая социальная психология» и «социологическая социальная психология». Даже аббревиатуры две – PSP и SSP. Это догма, принятая абсолютно во всем мире. У меня есть американские учебники, которые называются «Социальная психология для социологов». Вообще это очень интересная история. Еще в 54-ом году в Америке был такой эксперимент: в одном университете курс социальной психологии прочитали одному и тому же потоку дважды – в первом семестре и во втором. В первом читал психолог по образованию, во втором – социолог. А студентов разделили – кто хочет сюда, кто туда. После чтения лекций их собрали вместе и предложили провести дискуссию о предмете «социальная психология». И дискуссии не получилось, потому что, как оказалось, они прослушали лекции по двум совершенно разным предметам. Всюду сталкиваются с расхождением в понимании предмета «социальная психология» между психологами и социологами. В каждой стране это решают по-разному. Скажем, в Венгрии их две с самого начала – одна на социологическом факультете, другая – на психологическом. В ГДР она была вся психологическая, во Франции – психологическая, но с очень сильным социологическим креном. В США совершенно законно существуют две разных социальных психологии и две секции Американской социологической ассоциации.

Курс, который я придумала, построила, который, в общем-то, на кафедре жив, хотя я ею сейчас не веду – это попытка объединить две ветви социальной психологии. Я глубоко убеждена, что европейская традиция социальной психологии последнего двадцатилетия – с очень сильным антиамериканским креном – как раз за то, чтобы включить в социальную психологию как можно больше элементов социологического знания (в отличие от американской, особенно ее психологической ветви). Любимый термин французских социальных психологов – «социальный контекст». Они считают, что по-настоящему о социальной психологии можно говорить только тогда, когда все психологические механизмы социального поведения включены в социальный контекст, то есть необходим серьезный фундамент социологического знания для того, чтобы социальная психология действительно могла ухватывать психологические характеристики социальных отношений и социального поведения. Так что я считаю, что мой социологический опыт был очень полезен и очень помог. До сих пор я нисколько не грущу, что у меня нет базового психологического образования, хотя кое в чем было трудно, потому что культура, манера совсем другие, студенты другие.

– *Развитие социологии у нас, таким образом, шло параллельно – в академических структурах и в университетах. В какой мере они взаимодействовали, можно ли говорить об установившихся тесных контактах?*

– Только через нашу кафедру и только на основании личных связей. Я уже говорила, что у нас читали лекции Шубкин, Шляпентох...

– *Левада читал лекции на факультете журналистики...*

– Да, но только потому, что их декан, Ясен Засурский сам от себя его пригласил, как и Грушина. Это было автономное русло. Там же были подготовлены и книжки, за которые потом Леваду «били».

– *Скандалы вокруг лекций Левады «прокатились» и по вашему факультету?*

– Да, от нас потребовали, чтобы мы их обсудили. Ягодкин, тогдашний секретарь парткома МГУ, предписал это нашему декану, потому что такое вот происходит у нас в университете. И когда я выступала на ученом совете, разбирая эти лекции, то начали «бить» и меня за то, что недостаточно критично их оцениваю. Профессор Козлов, который потом писал на меня донос, говорил, что «на самом деле они заодно и вообще – знаем мы этих социологов»... А выступали на ученом совете, как сейчас помню, многие, совершенно никакого отношения к социологии не имеющие, и модель была такая же, как на других наших научных сборищах: «я, конечно, сам не читал, но думаю...». Никто не читал, «но думал», что нам это не годится.

– *Галина Михайловна, не разрушились за прошедшее время ваши связи с социологами?*

– Самые тесные остались с Владимиром Александровичем, потому что мы с ним все время сотрудничали, с Коном, Левадой, с Грушиным частично сотрудничаем, иногда по поводу «общественного мнения», с Шубкиным сохранились какие-то отношения.

– *Чисто личные или профессиональные?*

– Со всеми чисто личные, а с Владимиром Александровичем – и профессиональные.

Он все время хочет, чтобы я что-то делала для Института. Я же читала лекции по социальной психологии в колледже ИС РАН (только недавно от этого отказалась, трудно стало ездить), я член ученого совета, и мне шлют разные рефераты, диссертации и т.д. Я ведь некоторое время работала в ИКСИ – забыла упомянуть этот момент. На полставки. Сначала была в секторе Шубкина по социологии образования (даже какая-то моя публикация есть в их сборнике), потом с приходом Руткевича начались конфликты, я уехала в отпуск, а когда вернулась, меня «ловят» сотрудники из сектора Кона («Критики современной зарубежной теории социологии») и просят инструкций – чем им заниматься. «А я тут при чем?», – спрашиваю. «Вы наш новый заведующий», отвечают и ведут меня к двери с табличкой «Г.М.Андреева, зав.сектором» с этим коновским названием. Я пошла к Руткевичу, и он подтвердил, что они приняли такое решение, потому что Игорь Семенович ушел из института. «Хорошо, говорю, вы приняли решение, а я каким-нибудь образом его принимала?» «Вас тут не было, решать нужно было срочно, что же вы теперь – будете отказываться? Все проведено через академию, ничего изменить нельзя». Я говорю, да, буду отказываться, потому что не люблю, когда мной вот так манипулируют. Напишу заявление, и работать тут не буду. «Я посмотрю, говорит, как вы это напишете». Потом, наверное, смотрел, как отвинчивали ту табличку. Мы жутко тогда поругались с Руткевичем. «Михаил Николаевич, – сказала я, – от вас уходят все, к кому вы плохо относитесь. Считалось, что ко мне вы относитесь хорошо. Если вы начинаете изживать того, к кому относитесь плохо, это грустно, но хотя бы есть логика. Но если вы изживаете человека, к которому якобы относитесь хорошо – это явно нелогично». На том мы расстались, с тех пор никогда больше не разговаривали. Шубкин меня звал к себе, но я не согласилась и вообще ушла из института, проработав там два года.

– *Вы вышли из социологии и вошли в социальную психологию или же остались где-то на грани? Для вас социология и социальная психология – две самостоятельные науки?*

– Да, они не объединились, это две самостоятельные науки. Но социальная психология – это наука, которая сама по себе маргинальна, расположена между социологией и психологией, поэтому в нее входят значительная доля психологического знания и значительная доля социологического. Та доля социологического знания, которая сюда вошла, и есть моя специальность.

– *Кем вы себя сейчас считаете?*

– Сейчас, безусловно, социальным психологом. Во-первых, я здесь с 71-го года, тоже уже 25 лет, во-вторых, все-таки 17 лет на этой кафедре, в-третьих, написанный учебник, в-

четвертых, десятки аспирантов, доктора №из моих рук» уже получились – конечно, тут моя профессиональная принадлежность.

– Если говорить о социологии как общественной науке в России, на ваш взгляд, она состоялась?

– Да, наверное, все-таки состоялась, хотя, конечно, проблемы у нее были, есть и будут.

– Не сводится ли она сейчас к общественным опросам?

– Не сводится, но они явно преобладают. Все те традиционные разделы социологии, которые есть во всем мире, – социология науки, социология культуры, социология города, социология села, социология образования – они формально вроде бы есть и у нас, но на слуху, в общественном сознании в основном все-таки опросы общественного мнения, массовые обследования.

– Не кажется ли вам, что социальная психология как общественная наука для самого общества более значима, чем социология?

– У меня впечатление, что это так, но социологи говорят, что у меня неправильный взгляд. В последнее время социальная психология стала гораздо более популярной, и это ей, безусловно, во вред. В социологии некоторые ее «потребители» разочаровались, а теперь в моде миф о том, что все проблемы можно решить при помощи социальной психологии.

– Кажется, он начал рождаться еще в 60-70-е годы.

– Конечно, это и до перестройки было: якобы стоит только позвать социального психолога, как развяжутся все «узлы» и наладятся все отношения. Социологи, мол, пытались, но не учитывали психологический фактор, а социальные психологи и отличаются тем, что будут его учитывать. Но это тоже абсолютный миф. Долгое время практически все исследования социальных психологов на тех же промышленных предприятиях кончались ничем, потому что было такое количество нерешенных экономических и социальных проблем, что дело даже не доходило до того, чтобы справиться с ними при помощи социально-психологических решений. Первое свое эмпирическое исследование наша кафедра провела на фабрике имени Свердлова. Только научились делать какие-то практические рекомендации, и сразу выяснилось, что применить их нельзя. Например, в ночную смену женщины-лимитчицы отказывались ходить, плохо работали, потому что ночь, потому что отвратительные условия в этих красильных цехах, девушки стоят в резиновых сапогах. Конечно, психологически совершенно невыносимая ситуация. Мы дали рекомендацию, ну а дальше? А дальше ничего, потому что не могут этот цех модернизировать. Все повисло. Второй пример – провели обследование в цехах – характер взаимоотношений, психологический климат, кто там лидер, кто не лидер. Выяснили, что в одном из цехов при существующем начальнике никакого взаимопонимания или мотиваций не будет. Мы пишем директору комбината свою рекомендацию. Он говорит: «Правильно, я сам знаю, но он зять секретаря горкома, я не могу его убрать». И вся психология кончается. А на некоторых предприятиях откровенно говорили: рекомендации ваши хороши, но мы их кладем в сейф, и никто их никогда не увидит, потому что они раскапывают то, что вообще не должно быть раскопано. То есть как и в социологии. Когда поле было тем же самым, что и у социологов – был тот же эффект.

С нашей кафедры вышло направление социально-психологического тренинга. Я думаю, это важная часть практической социальной психологии, но с весьма локальным применением. Однако очень заманчивое, и огромная масса бросилась в эти самые тренинги, практическое консультирование, расплодилось, как и в социологии, какие-то самозванцы. Наша кафедра, конечно, очень сильная, любой сотрудник – человек высочайшей квалификации. Но нас мало, а по всей стране сейчас столько «социальных психологов», «специалистов» по тренингу, что я и не знаю, как прикрыть эту практику.

У нас сейчас открыт вечерний платный факультет, так называемый трехгодичный спецфак для получения второго высшего образования. Приходят люди, которые в силу каких-то обстоятельств нуждаются в психологическом дипломе. Некоторые группы очень

сильные, там прекрасный народ – физики, инженеры-электронщики, преподаватели английского языка, музыкальные работники и т.д. Я как-то спросила, зачем, собственно, им все это надо. Они же после работы мечутся пять раз в неделю, осваивая, в общем, очень трудный курс: им дают серьезную общую психологию, с какими-то там методиками, которые им, возможно, совершенно чужды. Они начинают мне объяснять, что по образованию они, например, физики, но уже ведут психологическое консультирование. Ну, эти хоть пришли немножко подучиться, а ведут его, кто хочет, потому что модно, потому что это есть во всех фирмах. Наши аспиранты уходят заместителями директоров больших банков по работе с персоналом или в фирму по набору кадров. Заходят к нам, смотрят на нас с сожалением, потому что уже не понимают, как можно жить в этом МГУ на профессорскую зарплату, когда у них там совсем другие масштабы. Жалко, что они потеряны для науки, но они хоть с базовым образованием и профессионально ведут все эти консультирования и тренинги. А вот масса каких-то новоявленных, доморощенных – это ужасная вещь. Я не знаю, как это закрыть.

– Не закроешь, если есть потребность.

– Часто наивная потребность. Когда я еще заведовала кафедрой социологии, одна девочка-выпускница была распределена в город Зеленодольск в Татарии, недалеко от Казани, и попала на завод, где мой двоюродный брат был начальником цеха. Он приехал сюда и говорит: «Слушай, там какая-то твоя пришла в цех, не знаю, что с ней делать, зачем она нужна, жалко прогнать, знаю, что твоя выпускница». Абсолютно аналогичная история была на психфаке, когда выпускница с кафедры медицинской психологии была распределена в Казанскую областную психбольницу, где тогда моя старая мама работала невропатологом-консультантом. Она мне тоже говорит: «Ты знаешь такую? Мне ее так жалко, все ее шпыняют, психиатры говорят, что сами знают, что им надо, я ее защищаю, потому что с твоего факультета». Им очень тяжело в непрофессиональной среде. И психологам, наверное, еще тяжелее, чем социологам.

– В вашей науке нет разобщенности пожилых и молодых?

– У нас были очень пожилые мэтры, старше меня на поколение, но они все уже ушли. Теперь, наверное, самые старые мы, но, в общем, у нас нет таких проблем. В вузе это всегда проще: что я, что моя вчерашняя аспирантка, сегодняшней кандидат наук – мы с ней идем к одним и тем же студентам. Сказывается, видимо, и то, что психологи были гораздо лучше образованы, в том смысле, что здесь не было такого идеологического прессинга. Классическая фраза нашего заведующего кафедрой психофизиологии: «Нейрону глубоко безразлично, что вокруг: капитализм или социализм». Он все годы совершенно спокойно общался со своими коллегами. Социальная психология развивалась в недрах этого психологического общества, поэтому и у нас молодые совершенно не понимают, причем тут какая-то идеология. Я-то понимаю, потому что я оттуда, из того общества, из того старого социологического прошлого. Я написала главу в новую книгу по истории социальной психологии, там как раз пытались разобраться, почему роль марксистской социологии в становлении социально-психологического знания в нашей стране совершенно иная, чем она была в становлении социологического знания.

Дело, конечно, и в общей культуре. Когда я попала на психологический факультет, я как будто в другой мир пришла. Тут был старинный университет, по которому ходили такие старцы как Леонтьев, Лурия, Гальперин, которые говорили на разнообразных языках и к которым без конца приезжали какие-то ученые. Все они создавали уникальный климат. Тогда говорилось, что это единственный интеллигентный факультет во всем МГУ. Такие ученые были и на филологическом факультете, я еще студенткой бегала в Коммунистическую аудиторию на воскресные лекции по древнегреческой литературе профессора Радцига. Когда он читал Эсхила, думалось, что сам Эсхил стоит перед нами на трибуне. Все они ушли понемножечку. Потом наше поколение стало мэтрами, сколько можем, держим. Но, к сожалению, все это растворяется. Когда нам привезли теперешнего декана, он вышел на трибуну и сказал: «Мы в науку на брюхе приползли». Эстонец, который

сидел со мной рядом, заметил: «Даже если это так, зачем делиться методикой». На факультете стало очень много народу. Я уже никого не знаю, потому что у нас огромная лаборатория инженеров, программистов, они, наверное, хорошие ребята и мастера в своей профессии. Но, к глубокому моему сожалению, они не вносят никакой лепты в гуманитарную культуру. А мы, мое поколение – сколько можем – будем держаться.